

*КУЛЬТУРА
И
ТЕКСТ*

КУЛЬТУРА И ТЕКСТ

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

**№ 1 (24)
2016**

БАРНАУЛ

КУЛЬТУРА И ТЕКСТ
№ 1(24) 2016

Редакционная коллегия

Главный редактор –
Козубовская Галина Петровна,
доктор филологических наук, профессор

Ответственные редакторы по разделам
Лингвистика – **Бринев Константин Иванович**
Литературоведение – **Козубовская Галина Петровна**
Культурология – **Ан Светлана Андреевна**

Редакционная коллегия

Бутакова Л.О. (д-р филологических наук, ОмГУ, Омск), Габдуллина В.И. (д-р филологических наук, АлтГПУ, Барнаул), Голев Н.Д. (д-р филологических наук, КемГУ, Кемерово), Голубков С.А. (д-р филологических наук, СамГУ, Самара), Гончарова О.М. (д-р филологических наук, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург), Гончаров С.А. (д-р филологических наук, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург), Гребнева М.П. (д-р филологических наук, АлтГУ, Барнаул), Дубровская Т.В. (д-р филологических наук, ПГУ, Пенза), Колесов И.Ю. (д-р филологических наук, АлтГПУ, Барнаул), Лебедева Н.Б. (д-р филологических наук, КемГУ, Кемерово), Мирошникова О.В. (д-р филологических наук, ОмГПУ, Омск), Орлицкий Ю.Б. (д-р филологических наук, РГГУ, Москва), Рогачева Н.А. (д-р филологических наук, ТюмГУ, Тюмень), Семькина Р.Н. (д-р филологических наук, ААЭП, Барнаул), Скатов Н.Н. (д-р филологических наук, член-корр. РАН, ИРЛИ, Санкт-Петербург), Строганов М.В. (д-р филологических наук, Москва), Строганова Е.Н. (д-р филологических наук, Москва), Фарыно Ежи (д-р филологических наук, Варшава, Польша), Худенко Е.А. (д-р филологических наук, АлтГПУ, Барнаул), Яковлева Е.А. (д-р филологических наук, БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа)

Учредитель: ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 54625 от 01.07. 2013 г.

Адрес редакции: 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55. Тел. 8 (3852) 62-35-57. Адрес электронной почты: galina_mifo@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Э.В. Будаев Дискурсивный подход к анализу политической метафоры	5
Т.П. Сухотерина, К.Р. Евсева «Детское письмо» как жанр естественной письменной речи	20

Н.В. ГОГОЛЬ: НЕЮБИЛЕЙНЫЙ КОНТЕКСТ

В.Д. Денисов О малороссийском историческом романе Н.В. Гоголя	30
---	----

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

С.Ф. Дмитренко История закрытия «Отечественных записок» и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина	50
---	----

В ПОИСКАХ ЖАНРА

А.В. Денисова Функции хронотопа в «зимних заметках о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского	64
---	----

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА

Е.Н. Проскурина Духовная традиция в наследии А. Платонова: между притяжением и отталкиванием	75
--	----

«СЕВЕР»: МЕТАФИЗИКА И ПОЭТИКА

О.М. Гончарова Метафизика севера: осмысление <i>места</i> этнического бытия	93
---	----

АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ

М.В. Строганов	
-----------------------	--

Два тверских чиновника М.Е. Салтыков и Н.Н. Рубцов. Опыт реконструкции 110

НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ

Козубовская Г.П.

Отзыв о диссертации Елены Владимировны Капинос «Формы и функции лиризма в прозе И.А. Бунина 1920-х годов», представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература 127

ИНТЕРВЬЮ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

П.В. Михед

«Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет...» 141

ЮБИЛЕИ

О.М. Гончарова Ежи Фарыно 154

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Пушкинская премия И. Жданову 159

ЛИНГВИСТИКА

Э.В. Будаев¹

*Российский государственный профессионально-педагогический
университет (Екатеринбург)*

ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ²

В статье рассматриваются особенности дискурсивного подхода к анализу метафоры в политической коммуникации. В американской и европейской лингвистике выделяются несколько частных теорий и методологий данного подхода: критический дискурс-анализ, дескриптивный дискурс-анализ, дискурсивная теория демократизации, дискурсивный анализ социальных структур, комбинаторная теория кризисной коммуникации, теория дискурсивного понимания. В отечественной лингвистике дискурсивный подход к политической метафоре реализуется в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы.

Ключевые слова: метафора, дискурс-анализ, политический дискурс, политическая лингвистика

E.V. Budaev

*Russian State Professional Pedagogical University
(Ekaterinburg)*

A DISCOURSE APPROACH TO POLITICAL METAPHOR ANALYSIS

¹ Эдуард Владимирович Будаев, доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков, теории и методики обучения Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург).

² Настоящее исследование поддержано РГНФ (№ 14-04-00268 «Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления»)

The article highlights some features of the discourse approach to political metaphor analysis in contemporary linguistics. It is argued that in American and European linguistics discourse approach embraces a number of particular theories and methodologies such as critical discourse analysis, descriptive discourse analysis, discursive theory of democratization, discursive analysis of social structures, crisis communication combination theory (CCC-theory), the discursive notion of metaphor. In Russian linguistics a discourse approach to political metaphor analysis is mainly represented by the cognitive-discursive paradigm.

Key words: metaphor, discourse analysis, political discourse, political linguistics.

Дискурсивный подход к анализу лингвистических явлений достаточно распространен в современных научных изысканиях. Вместе с тем специальные обзоры показывают, что в лингвистике нет однозначного определения термина «дискурс» [Карасик, 2004; Кубрякова, 2004; Макаров, 2003; Петрова, 2003; Серио, 2002; Чернявская, 2001; Чудинов, 2003; Шейгал, 2004; Burman, Parker, 1993; de Beaugrande, 1997; Schiffrin, 1994; Tomlin et al., 1997; van Dijk, 1997]. Как отмечает Дж. Юл, «дискурс-анализ охватывает широкий спектр научной деятельности, начиная от узко сфокусированного исследования того, как слова «oh» и «well» используются в обыденной речи, до изучения доминирования идеологий в определенной культуре, представленных, например, в образовательных или политических дискурсивных практиках» [Yule, 2000, с. 83].

В современных обзорах и исследованиях сущности дискурса сложилось два подхода к определению онтологического статуса рассматриваемого феномена. В первом случае исследователи воспринимают дискурс как такой объективно существующий феномен действительности, при описании которого возможен один наиболее адекватный подход к его описанию. При таком понимании исследователи анализируют существующие определения и, указывая на их «логическую некорректность», предлагают свое, «наиболее правильное» понимание. При альтернативном подходе различные определения дискурса рассматриваются как равновозможные, что не лишает ученого возможности соотносить понимание дискурса со спецификой своего исследования. При таком подходе определение

дискурса соотносится с целями, материалом, научными традициями и другими конститутивными факторами исследовательской деятельности. Сущность эволюции понятия «дискурс» и причины его вариативности выразила Е.С. Кубрякова, указывая, что «интуитивное обращение к новому понятию было вызвано не просто модой и не только содержанием слова дискурс, которое в литературном языке могло означать и речь, и беседу, и разговоры, и лекции, и последовательное изложение мысли, и рассуждения с переходом от одной темы к другой. Оно было связано с необходимой потребностью в создании такого концепта, который соединил бы существующие в неясном и смутном виде представления в единый гештальт и помог бы отразить в едином образе порождаемую в особых условиях речь, связанную с самими коммуникативными условиями этого порождения» [Кубрякова, 2004, с. 524]. Различные подходы к дискурсу объединяются по принципу фамильного сходства: ученые акцентируют внимание на различных аспектах условий порождения дискурса в зависимости от исследовательских традиций, целей и материала исследования.

Вместе с тем нет необходимости использовать термин «дискурс» для обозначения понятий, за которыми в лингвистике давно закрепились устойчивые названия [Чудинов, 2003, с. 18]. Мы присоединяемся к мнению тех ученых, которые рассматривают дискурс как «сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [Караулов, Петров, 1989, с. 8]. Также Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как «текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами» [Арутюнова, 1990, с. 136–137]. Как указывает А.П. Чудинов, «преимущество такого подхода в том, что дискурс не ограничивается рамками собственно текста, а включает также социальный контекст коммуникации, характеризующий ее участников, процессы продуцирования и восприятия речи с учетом фоновых знаний» [Чудинов, 2001, с. 196].

Для определения границ политического дискурса важны идеи ряда исследователей, придерживающихся широкого понимания

политического измерения дискурса. Как отмечает П. Серио, не существует высказывания, «в котором нельзя было бы не увидеть культурную обусловленность и которое нельзя было бы тем самым связать с характеристиками, интересами, значимостями, свойственными определенному обществу или определенной социальной группе, их признающей в качестве своих. В любом высказывании можно обнаружить властные отношения» [Серио, 2002, с. 21]. По мнению Р. Водак и Ч. Людвига, дискурс «неразрывно связан с властью и идеологией. Не существует социального взаимодействия, в котором не доминировали бы отношения к власти или не играли релевантной роли нормы и ценности» [Wodak, Ludwig, 1999, с. 12].

Некоторые уточнения такого «сильного» варианта, размывающего границы между различными видами дискурсов, преодолеваются в работе Е.И. Шейгал [2004], в которой определяются критерии для определения границ именно политического дискурса. Указывая на диффузные границы между различными видами дискурсов, Е.И. Шейгал предлагает использовать полевой подход. Политический дискурс включает как институциональные, так и неинституциональные формы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из трех составляющих: субъект, адресат или содержание сообщения [Шейгал, 2004, с. 18–32]. При этом важно учитывать, что содержание сообщения нередко соотносится со сферой политики имплицитно. Как отмечает Дж. Юл, исследование дискурса направлено на изучение того, что не сказано или не написано, но получено (или ментально сконструировано) адресатом в процессе коммуникации. Необходимо обнаружить за лингвистическими феноменами структуры знания (концепты, фоновые знания, верования, ожидания, фреймы и др.), т.е., исследуя дискурс, «мы неизбежно исследуем сознание говорящего или пишущего» [Yule, 2000, с. 84].

В настоящем исследовании принят «слабый» вариант определения границ политического дискурса. Например, не подвергались специальному рассмотрению материалы, посвященные вопросам спорта, искусства, экологии и т.п. Однако анализ материала показывает, что некоторые сферы общественной жизни эксплицитно связываются адресантом коммуникации с политической жизнью общества, а многие метафорические выражения, посвященные

неполитическим сферам общественной жизни, позволяют адресату без особых затруднений получать инференции политического свойства.

В лингвистике сложилось два основных направления анализа политического дискурса: дескриптивный и критический. Критический подход направлен на анализ социального неравенства, выраженного в дискурсе, а исследователь политического дискурса открыто занимает позицию лишенных власти и угнетенных. Тот факт, что различные подходы к политическому дискурсу объединяются по принципу фамильного сходства можно продемонстрировать, рассмотрев общее и особенное в критическом дискурс-анализе. На настоящий момент в зарубежной лингвистике сложилось три основных школы критического подхода к анализу политического дискурса:

– немецкая школа критического анализа дискурса (З. Егер, У. Маас, Линк), особое место в которой занимает социолингвистический дискурс-анализ Р. Водак и ее коллег (венская школа дискурс-анализа) (Г. Вайс, Х. Людвиг, П. Новак, Й. Пеликан, М. Седлак).

– социо-когнитивный анализ дискурса Т. ван Дейка.

– школа дискурс-анализа Н. Фэрклаф.

При дескриптивном подходе превалирует стремление описать и объяснить феномены, избегая при этом собственной (особенно связанной с политическими убеждениями субъекта исследования) идеологической оценки, что, конечно, связано не с отсутствием гражданской позиции, а с представлениями о критериях научной объективности исследования. По мнению П. Чилтона, большей научной значимостью для достижения постулируемых последователями критического дискурс-анализа целей обладают разработки в области когнитивной науки, чем идеологические позиции субъекта исследования [Chilton, 2005].

Не совсем верно ставить в один ряд с дескриптивным и критическим подходами когнитивный подход ввиду гетерогенности критериев, положенных в основу классификации. Разделение дескриптивного и критического подходов основано на критерии присутствия или отсутствия идеологической, гуманистической оценки объекта субъектом исследования, а выделение когнитивного подхода – на критерии метода (и шире – методологии) исследования. Другими словами, критический дискурс-анализ не может быть дескриптивным,

в то время как и тот и другой могут дополняться или не дополняться когнитивными методами (например, когнитивный критический дискурс-анализ по Т. ван Дейку или К. О'Халлорану, некогнитивный критический по Н. Фэйрклау, дескриптивный когнитивный у многих российских исследователей и т.д.).

Прежде чем приступить к рассмотрению современных подходов к дискурсивному анализу политической метафоры, необходимо отметить, что в зарубежной лингвистике феномен функционирования метафоры в политической коммуникации активно разрабатывался с середины XX века, а идеи, положенные в основу современных подходов к дискурс-анализу, в той или иной степени разрабатывались в работах по политической метафоре в русле исследований по риторике и прагматике (Р. Аден, Р. Айви, Ф. Брайан, А. Гастингс, В. Гриббин, Л. Гриффин, Р. Карпентер, М. Осборн, В. Риккерт, В. Стелцнер и др.) (подробный анализ вопроса в монографии [Будаев, Чудинов, 2008]).

Важно подчеркнуть стремление многих исследователей рассмотреть роль метафоры в развитии социальных процессов. С этой точки зрения особого внимания заслуживают современные работы американского ученого Р.Д. Андерсона, посвященные роли метафоры в процессах демократизации общества. В публикации "The Discursive Origins of Russian Democratic Politics" [Anderson, 2001a] автор излагает дискурсивную теорию демократизации, суть которой состоит в том, что истоки демократических преобразований в обществе следует искать в дискурсивных инновациях (под дискурсом автор понимает совокупность процедур по созданию и интерпретации текстов, под текстом – единичное коммуникативное событие), а не в изменении социальных или экономических условий. По Р.Д. Андерсону, при смене авторитарного дискурса власти демократическим дискурсом в массовом сознании разрушается представление о кастовом единстве политиков и их «отделенности» от народа. Дискурс новой политической элиты элиминирует характерное для авторитарного дискурса наделение власти положительными признаками, сближается с «языком народа», но проявляет значительную вариативность, отражающую вариативность политических идей в демократическом обществе.

Для подтверждения своей теории Р.Д. Андерсон обращается к анализу советско-российских политических метафор [Anderson, 2001a, 2001b, 2004]. Материалом для анализа послужили тексты политических выступлений членов Политбюро 1966–1985 гг. (авторитарный период), выступления членов Политбюро в год первых общенародных выборов (1989 г.) (переходный период) и тексты, принадлежащие известным политикам различной политической ориентации периода 1991–1993 гг. (демократический период). Исследовав частотность нескольких групп метафор, Р.Д. Андерсон приходит к выводу, что частотность метафор размера и метафор личного превосходства и субординации уменьшается по мере того, как население начинает самостоятельно выбирать представителей власти. Специальный анализ показал, что на смену «вертикальным» метафорам приходят метафоры «горизонтальные»: *диалог, спектр*, цветные метафоры, метафоры сторон и др. Гигантомания и патернализм метафор, характерные для дискурса авторитарного периода в СССР, присущи монархическому и диктаторскому дискурсу вообще, поэтому пространственные метафоры субординации представляют собой универсальный индикатор недемократичности общества.

Поскольку Р.Д. Андерсон отводит метафоре роль фактора, оказывающего большое влияние на общественные процессы, его теория вполне согласуется с взглядами на прагматический потенциал концептуальной метафоры в теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, хотя исследователь эксплицитно не апеллирует к процедурам обработки знаний.

В современной политической лингвистике дискурс-анализ политической метафоры представлен и многими другими направлениями. Так, П. Друлак [Drulak, 2004] предпринял попытку синтезировать эвристики концептуального исследования с методами дискурсивного анализа социальных структур по А. Вендт. Базовая идея подхода состоит в том, что дискурсивные структуры (в том числе и метафорические) являются отражением структур социальных. Исследователь проанализировал метафоры, которые использовали лидеры 28 европейских стран в дебатах о составе и структуре Европейского Союза (период 2000–2003 гг.). Выделив концептуальные

метафоры «самого абстрактного уровня» (КОНТЕЙНЕР, РАВНОВЕСИЕ КОНТЕЙНЕРОВ и др.), П. Друлак выявил, что лидеры стран ЕС предпочитают метафору КОНТЕЙНЕРА, а лидеры стран-кандидатов на вступление в ЕС – метафору РАВНОВЕСИЯ КОНТЕЙНЕРОВ. Иначе говоря, лидеры стран ЕС предпочитают наделять надгосударственное объединение чертами единого государства, а лидеры стран-кандидатов предпочитают видеть в ЕС сбалансированное объединение государств.

Во многих публикациях методика концептуального анализа метафор в политическом нарративе дополняется методами критического дискурс-анализа и сочетается с гуманистическим осмыслением анализируемых событий. Так, в январе 1998 года резко увеличилось количество курдов-иммигрантов, ищущих убежища в Европе. Исследуя осмысление этих событий в австрийских газетах, Е. Эль Рефайе [El Refaie, 2001] выявляет, что доминантные метафоры изображают людей, ищущих убежища, как нахлынувшую водную стихию, как преступников, как армию вторжения. Регулярная апелляция к этим образам во всех исследованных газетах представляется показателем того, что «метафоры, которыми мы дискриминируем» [El Refaie, 2001, с. 352], стали восприниматься как естественный способ описания ситуации.

Ирландские лингвисты Х. Келли-Холмс и В. О’Реган [Kelly-Holmes, O’Regan, 2004], определяя методологической основой своего исследования критический дискурс-анализ, рассмотрели немецкие концептуальные метафоры родства, болезни, школы, криминального мира, войны и дома как способ делегитимизации ирландских референдумов 2000 и 2001 гг.

Важное место в политической лингвистике занимает комбинаторная теория кризисной коммуникации (CCC-theory) К. де Ландтсхеер и ее единомышленников. Исследователи указывают на возможность и необходимость объединения субституционального, интеракционистского и синтаксического подходов к анализу политической метафоры, которые не исключают друг друга, а только отражают различные перспективы рассмотрения одного феномена и имеют свои сильные и слабые стороны [Beer, Landtsheer 2004]. Некогда К. де Ландтсхеер доказала на примере анализа голландского политического дискурса, что существует зависимость между

частотностью метафор и общественными кризисами [Landtsheer, 1991]. В очередном исследовании К. де Ландтсхеер и Д. Фертессен [Vertessen, Landtsheer, 2008], сопоставив метафорику бельгийского предвыборного дискурса с метафорикой дискурса в периоды между выборами, обнаружили, что показатель метафорического индекса увеличивается в предвыборный период. Подобные факты, по мысли авторов, еще раз подтверждают тезис о важной роли метафоры как средства воздействия на процесс принятия решений и инструмента преодоления проблемных ситуаций в политическом дискурсе.

Теория дискурсивного понимания метафоры (the discursive notion of metaphor) разрабатывается рядом немецких лингвистов (Й. Вальтер, Й. Хелмиг, Р. Хюльссе). По мнению исследователей, метафора не столько когнитивный феномен, сколько феномен социальный. В первую очередь метафора рассматривается не как средство аргументации, а как отражение общих для определенной группы людей имплицитных категоризационных структур, оказывающих значительное влияние на «конструирование социальной реальности» [Hülse, 2003]. Например, Р. Хюльссе, проанализировав метафоры ДВИЖЕНИЕ и КОНТЕЙНЕР в дебатах о возможном вступлении Турции в ЕС в немецкой прессе, пришел к выводу, что немцы «помещают» Турцию в «между-пространство» (in-between-space), не считая ее ни европейским, ни азиатским государством [Hülse, 2000]. Согласно названной теории, сам дискурс порождает метафоры, а метафоры рассматриваются как «агенты дискурса» (другими словами, индивидуально-когнитивным особенностям участников политической коммуникации отводится малозначительная роль) [Walter, Helmig, 2008].

С дискуссионным вопросом о конвенциональности прагматических смыслов определенной сферы-источника и их корреляций с политическим дискурсом связан ряд монографий А. Мусолффа [Musolff, 2000, 2004b]. По мнению исследователя, одни и те же сферы-источники реализуются в политическом дискурсе разных стран для привнесения как пейоративных, так и мелиоративных смыслов. Конкретная сфера-источник – это точка отсчета для развертывания разнообразных метафорических сценариев, для отражения оценок и интенций участников коммуникации. А. Мусолфф

не отрицает частичную детерминацию осмысления событий структурой сферы-источника, но показывает, что значительное влияние на функционирование политической метафоры оказывают не только языковые или когнитивные факторы, но и экстралингвистическая среда.

Характерная черта современных российских исследований – теоретическая и практическая разработка когнитивно-дискурсивного подхода к анализу метафоры, объединяющего описание роли метафоры в категоризации и концептуализации политического мира с рассмотрением особенностей ее функционирования в реальной коммуникации (А.Н. Баранов, Т.С. Вершинина, Ю.Н. Караулов, А.А. Каслова, Р.Д. Керимов, Е.В. Колотнина, Н.А. Красильникова, А.Б. Ряпосова, Н.А. Санцевич, Т.Г. Скребцова, А.В. Степаненко, А.М. Стрельников, Ю.Б. Феденева, Н.М. Чудакова, А.П. Чудинов, О.А. Шаова и др.). В основе этого подхода лежит тезис о невозможности четкого разграничения когнитивного и дискурсивного измерения метафоры. При когнитивно-дискурсивном подходе «усилия исследователя направляются прежде всего на то, чтобы выяснить, как и каким образом может удовлетворять изучаемое языковое явление и когнитивным, и дискурсивным требованиям» [Кубрякова, 2004, с. 520]. Метафора одновременно описывается и как ментальный, и как лингвосоциальный феномен, соответственно только когнитивная или только дискурсивная трактовка метафоры препятствует ее адекватному описанию.

Не всегда возможно заранее инвентаризировать или указать на экстралингвистические факторы, апелляция к которым понадобится для экспликации порождения и функционирования политических метафор, чем и объясняется столь широкая на первый взгляд трактовка дискурса, принимаемая в настоящей работе. В этом отношении показательно сопоставительное исследование А. Мусолффа [Musolf, 2004a], посвященное анализу метафор со сферой-источником «политическое тело» в английском и немецком политическом дискурсе 1989–2001 гг. А. Мусолфф выявил, что 45 % словоупотреблений концептуальной метафоры «ЕС – это человеческое тело» приходятся на метафору *сердце Европы* (*heart of Europe / herz Europas*). Немцы предпочитают использовать метафору *herz Europas* как ориентационную, что неудивительно, если учесть, что

географически Германия находится в центре Европы. Британцы намного реже используют ориентационный потенциал политической метафоры *heart* и акцентируют внимание на функциональном значении сердца для человеческого организма (Евросоюза), поскольку по сравнению с Германией Великобритания относится к географической периферии Европы. А. Мусолфф, проследивая хронологические изменения («эволюцию») в актуализации метафоры *heart of Europe* в английской прессе, показывает, что по мере усиления разногласий между Великобританией и ЕС в британской (но не в немецкой) прессе начинают доминировать метафоры болезни сердца. Подобные образы отражают скептическое отношение британцев к политике ЕС, сменившее оптимистические настроения начала 90-х годов, когда акцентировалась значимость Великобритании в европейской политике.

Таким образом, указание на социально-политические и историко-культурологические факторы действительности не исчерпывает потенциального многообразия экстралингвистической каузации порождения и функционирования метафоры в политическом дискурсе. Как отмечает А.П. Чудинов, при исследовании концептуальной метафоры в политическом дискурсе необходимо учитывать «все присутствующие в сознании говорящего и слушающего (пишущего и читающего) компоненты, способные влиять на порождение и восприятие речи» [Чудинов, 2003, с. 18].

Как показывает анализ, российская школа дискурсивного анализа вобрала в себя некоторые эвристики дискурс-анализа по Т. ван Дейку (потеряв критичность), близка идеям социополитического дискурс-анализа Р. Водак, конститутивно интегрирует дискурс-анализ с когнитивной методологией. Вместе с тем многие европейские лингвисты все чаще в разработке принципов дискурс-анализа занимают близкие когнитивно-дискурсивной парадигме методологические установки [Chilton, 2005], в том числе применительно к дискурс-анализу политических метафор [Musolff, 2004a, 2004b; Steen 2002; Walter, Helmig, 2005; Hülse, 2003; Zinken, 2002].

Вместе с тем дискурсивный подход к анализу метафоры не означает, что необходимо предвирать исследование метафоры

социальными, политологическими, историческими, культурологическими и прочими очерками, опираясь на необходимость «учета экстралингвистических факторов». Обращение к экстралингвистической действительности целесообразно для экспликации фактов собственно лингвистических, не представляются плодотворными детализированные историко-политические экскурсы, предваряющие описание политических метафор. Поэтому вполне закономерно, что неоправданная интердисциплинарность вызывает справедливую критику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аругюнова, Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Аругюнова // Теория метафоры / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Аругюновой. – Москва: Прогресс, 1990. – С. 5-33.

Будаев, Э.В. Метафора в политической коммуникации / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. – Москва: Наука, 2008. – 282 с.

Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Москва: Гнозис, 2004. – 390 с.

Караулов, Ю.Н. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса / Ю.Н. Караулов, В.В. Петров // Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 5-11.

Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.

Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – Москва: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

Петрова, Н.В. Текст и дискурс / Н.В. Петрова // Вопросы языкознания. – 2003. – № 6. – С. 123-131.

Серио, П. Русский язык и советский политический дискурс: анализ номинаций / П. Серио // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – Москва: Прогресс, 2002. – С. 337-383.

Чернявская, В.Е. Дискурс как объект лингвистических исследований / В.Е. Чернявская // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса: Сб. науч. тр. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – С. 11-22.

Чудинов, А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации / А.П. Чудинов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2003. – 248 с.

Чудинов, А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991 – 2000) / А.П. Чудинов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2001. – 238 с.

Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И. Шейгал. – Москва: ИТДГК «Гнозис», 2004. – 326 с.

Anderson, R.D. Metaphors of Dictatorship and Democracy: Change in the Russian Political Lexicon and the Transformation of Russian Politics / R.D. Anderson // *Slavic Review*. – 2001b. – Vol. 60. – No. 2. – P. 312-335.

Anderson, R.D. The Causal Power of Metaphor: Cueing Democratic Identities in Russia and Beyond / R.D. Anderson // *Metaphorical World Politics: Rhetorics of Democracy, War and Globalization* / Ed. by F.A. Beer, Ch. De Landtsheer. – East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2004. – P. 91-110.

Anderson, R.D. The Discursive Origins of Russian Democratic Politics / R.D. Anderson // *Post-Communism and the Theory of Democracy* / Ed. by R.D. Anderson, M.S. Fish, S.E. Hanson, P.G. Roeder. – Princeton: Princeton University Press, 2001a. – P. 96-125.

Beer, F.A. Metaphors, Politics and World Politics / F.A. Beer, Ch. De Landtsheer // *Metaphorical World Politics* / Ed. by F.A. Beer, Ch. De Landtsheer. – East Lansing: Michigan State University Press, 2004. – P. 5-52.

Burman, E. Introduction – discourse analysis: the turn to the text / E. Burman, I. Parker // *Discourse Analytic Research: Repertoires and Readings of Texts in Action*. – London: Routledge, 1993. – P. 1-13.

Chilton, P.A. Missing Links in Mainstream CDA: Modules, Blends and the Critical Instinct // *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis. Theory, Methodology and Interdisciplinarity* / Ed. by R. Wodak, P. Chilton. – Amsterdam: Benjamins, 2005. – P. 19-51.

De Beaugrande R. The Story of Discourse Analysis / R. De Beaugrande // *Discourse as Structure and Process* / Ed. by T.A. van Dijk. – London: SAGE, 1997. Vol. 1. – P. 35-62.

De Landtsheer Ch. Function and the Language of Politics. A Linguistics Uses and Gratification Approach // Communication and Cognition. – 1991. – Vol. 24(3/4). – P. 299-342.

Drulák, P. Metaphors Europe Lives by: Language and Institutional Change of the European Union. EUI Working Papers, SPS No. 2004/15. – URL: www.arena.uio.no/events/documents/Paper_001.pdf.

El Refaie, E. Metaphors we discriminate by: Naturalized themes in Austrian newspaper articles about asylum seekers / E. El Refaie // Journal of Sociolinguistics. – 2001. – Vol. 5. – № 3. – P. 352-371.

Hülse, R. Looking beneath the surface – invisible othering in the German discourse about Turkey’s possible EU-accession / R. Hülse. – 2000. – URL: www.lse.ac.uk/collections/EPIC/documents/ICHuelsse.pdf.

Hülse, R. Metaphern der EU-Erweiterung als Konstruktionen europäischer Identität / R. Hülse. – Baden-Baden: Nomos, 2003. – 192 p.

Kelly-Holmes H. “The spoilt children of Europe”. German press coverage of the Nice Treaty referenda in Ireland / H. Kelly-Holmes, V. O’Regan // Journal of Language and Politics. – 2004. – Vol. 3. – № 1. – P. 81-116.

Musolff, A. Metaphor and conceptual evolution / A. Musolff // *metaphorik.de*. – 2004a. – № 7. – P. 55-75.

Musolff, A. Metaphor and Political Discourse. Analogical Reasoning in Debates about Europe / A. Musolff. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004b. – 224 p.

Musolff, A. Mirror Images of Europe. Metaphors in the Public Debate about Europe in Britain and Germany / A. Musolff. – München: Iudicum, 2000. – 214 p.

Schiffrin, D. Approaches to Discourse / D. Schiffrin. – Oxford: Wiley-Blackwell, 1994. – 470 p.

Steen, G.J. Identifying Metaphor in Language: A Cognitive Approach / G.J. Steen // *Style*. – 2002. – Vol. 36(3). – P. 386–407.

Tomlin, R.S. Discourse Semantics / R.S. Tomlin, L. Forrest, M.M. Pu, M.H. Kim // *Discourse as Structure and Process* / Ed. by T.A. van Dijk. London: SAGE, 1997. Vol. 1. – P. 63-111.

Van Dijk T.A. The study of discourse / T.A. van Dijk // *Discourse as Structure and Process* / Ed. by T.A. van Dijk. – London: SAGE, 1997. Vol. 1. – P. 1-34.

Vertessen, D. A Metaphorical Election Style: Use of Metaphor at Election Time / D. Vertessen, Ch. De Landtsheer // Political Language and Metaphor: Interpret-ing and Changing the World / Ed. by T. Carver, J. Pikalo. – London: Routledge, 2008. – P. 271-285.

Walter, J. Discursive Metaphor Analysis: (De)Construction(s) of Europe / J. Walter, J. Helmig // Political Language and Metaphor: Interpret-ing and Changing the World / Ed. by T. Carver, J. Pikalo. – London: Routledge, 2008. – P. 119-131.

Wodak, R. Introduction / R. Wodak, Ch. Ludwig // Challenges in a Changing World: Issues in Critical Discourse Analysis / Ed. by R. Wodak, Ch. Ludwig. – Vienna: Passagenverlag, 1999. – P. 11-20.

Yule, G. Pragmatics / G. Yule. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 138 p.

Zinken, J. Imagination im Diskurs. Zur Modellierung metaphorischer Kommunikation und Kognition. Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors im Fach Linguistik / J. Zinken. – Bielefeld: Universität Bielefeld, 2002. – 262 S.

**Т.П. Сухотерина¹,
К.Р. Евсева²**

*Алтайский государственный педагогический университет
(Барнаул)*

**«ДЕТСКОЕ ПИСЬМО» КАК ЖАНР ЕСТЕСТВЕННОЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ**

Работа посвящена рассмотрению «детского письма» как жанра естественной письменной речи по параметрам коммуникативно-семиотической модели. Выделяются и описываются композиционная структура «детских писем» и компоненты модели, участвующие в жанровой организации детского предновогоднего письма Деду Морозу. Проведенное исследование позволило выявить ряд компонентов, значимых для жанровой специфики анализируемого объекта.

Ключевые слова: детское письмо, жанр, естественная письменная речь, письмо Деду Морозу, композиционная структура, коммуникативно-семиотическая модель.

**T.P. Suhoterina,
K.R. Evseeva**

*Altai State Pedagogical University
(Barnaul)*

**«CHILDREN'S LETTER» AS A GENRE OF THE RUSSIAN
INFORMAL FLUENT WRITTEN SPEECH**

¹ Татьяна Павловна Сухотерина, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общего и русского языкознания Алтайского государственного педагогического университета, tatsu81@mail.ru.

² Кристина Робертовна Евсева, студентка 5 курса филологического факультета Алтайского государственного педагогического университета, kristina_ewseewa@mail.ru

The article is devoted to “children’s letters” treated as a genre of informal fluent written speech in the framework of a communicative-semiotic model. The article singles out and defines the compositional structure of “children’s letters” and the model components involved in the organization of children’s New Year genre letters to Ded Moroz (Grandfather Frost). The study reveals a series of components that are relevant to the genre specificity of the analyzed speech variety.

Keywords: children’s letter, genre, informal fluent written speech, letter to Ded Moroz (Grandfather Frost), compositional structure, communicative-semiotic model.

Одним из актуальных направлений современной лингвистики является изучение естественной письменной речи и ее жанровых разновидностей. Напомним, что термин «естественная письменная русская речь» был предложен проф. Н.Б. Лебедевой для называния непринужденной речи носителей языка, имеющей письменную форму; под естественной письменной речью (далее – ЕПР) в лингвистике понимается письменный вариант речевой деятельности, результатами которой являются разного рода тексты [Лебедева, 2001, с. 4]. Под жанром мы, вслед за К.Ф. Седовым, понимаем «вербальное оформление типичной ситуации социального взаимодействия людей» [Седов 1998, с. 6]. В настоящей статье мы придерживаемся именно этого определения и полагаем, что рече-языковую деятельность человека можно интерпретировать как постоянный выбор необходимой жанровой единицы (из всего существующего многообразия жанров ЕПР) в условиях конкретной коммуникативной ситуации.

Одним из распространенных видов письменно-речевой деятельности человека является письмо. Отметим, что изучение письма имеет длительную историю, однако исследование этой жанровой разновидности как явления ЕПР осуществляется сравнительно недавно. Лингвисты описывают жанровые характеристики армейских, фронтовых, личных, дружеских и др. писем. В рамках данной статьи мы остановились на рассмотрении жанровых признаков и функциональных свойств «детского письма» на примере предновогодних писем Деду Морозу.

Под «детским письмом» в настоящей работе понимается письменное послание в преддверии предстоящего праздника, включающее информирование о каких-либо событиях, просьбу о чем-либо и приятные пожелания адресату.

Материалом для исследования послужили детские письма Деду Морозу в количестве 30 единиц. Материал собран в средних образовательных учреждениях г. Барнаула, авторами являются учащиеся 5-6 классов. Письмо как жанр ЕПР было и остается одним из основных средств общения людей. «Детское письмо» Деду Морозу представляет собой разновидность письма как речевого жанра и служит средством эпистолярного общения ребенка (адресанта) и вымышленного адресата.

Конструирующими признаками письма как речевого жанра признаны три составляющие: содержание, структурно-композиционный признак, языково-стилистическое своеобразие [Бахтин 1979, с. 237]. «Детское письмо» обладает перечисленными признаками речевого жанра, имеет определенную композиционную структуру, состоящую из трех частей:

1. *Вводная часть*, представляющая собой приветствие и обращение к адресату. Эта часть отличается вежливым тоном, настраивающим на дальнейшее общение: *Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз...; Дорогой Дед Мороз и Снегурочка...; и др.* Иногда адресант представляется сам: *Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Саша.*

2. *Основная часть* может включать в себя наименование события, с которым поздравляют (*Поздравляю Вас с Новым годом!*), пожелания адресату (*Желаю Вам счастья и удачи во всем...*), просьбу (*К Новому году я хотела бы получить ролики...*), описание какого-либо важного события из жизни (*В этом году я окончил начальную школу...*).

3. *Заключительная фраза* (чаще всего этикетные формы прощания, выражения благодарности): *Заранее спасибо. // До свидания. // Всего хорошего.* В редких случаях после заключительной фразы следует адрес и подпись автора.

«Детское письмо» как жанр ЕПР обладает специфическими жанровыми признаками, которые, с одной стороны, пересекаются с характеристиками письма как речевого жанра, с другой стороны,

являются индивидуальными, присущими только анализируемому объекту.

Для определения жанровой специфики «детского письма» мы за основу берем традиционную методiku описания материала по параметрам коммуникативно-семиотической модели (далее – КСМ), разработанной Н.Б. Лебедевой. Главной целью КСМ, по мнению Н.Б. Лебедевой, является учет максимального числа элементов ситуации, конституирующих ЕПР и являющихся ее факторами. Модель включает 12 фациентов («факторообразующих компонентов ситуации»), каждый из которых имеет свои параметры или функциональные признаки [Лебедева 2001, с. 6].

Рассмотрим детское предновогоднее письмо Деду Морозу по параметрам коммуникативно-семиотической модели.

1. *Автор (кто?)* является создателем текста и субстанциональным участником коммуникации. Категория автора письма как жанра ЕПР обладает следующими характеристиками: а) моно/полиавторность (в зависимости от количества пишущих людей); б) эксплицированность, то есть выраженность автора (например, автором может выступать «близкий человек адресата, склонный к письменной форме выражения мыслей и чувств») или неэксплицированность (автор может быть анонимным, безразличным и т.д.); в) важны пол, возраст, психологические и социальные характеристики (образование, профессия, место жительства) автора письма [Лебедева 2001, с. 8].

Автором «детского письма» может являться любой представитель детского возраста. В анализируемом материале авторами являются школьники в возрасте от 10 до 12 лет: *Мне 11 лет, я учусь в 5 классе*. В представленных детских письмах автор обладает признаками эксплицированности, так как он всегда выражен, назван (*Меня зовут Дима...; Зовут меня Маша...;*), преимущественной веселости (*У меня все хорошо...; Под Новый год у меня всегда хорошее настроение...;*), тексты писем моноавторские (*Я пишу Вам письмо...;*).

2. *Цель (зачем?)*. Письмо как жанр ЕПР имеет информативную цель, то есть оно содержит информацию о чем-либо (о жизни автора, о его семье, о событиях из жизни близких друзей и т.д.). Отметим, что «Детское письмо» полифункционально, в нем реализуются

коммуникативная, информационная, эмоциональная и др. цели. При анализе «детского письма» Деду Морозу наблюдается синкретизм жанров. Так, к примеру, большинство из анализируемых писем представляют собой письмо-просьбу, т.е. такое письмо содержит не только информацию о каких-либо событиях, но и просьбу ребенка получить что-либо в качестве подарка в новогоднюю ночь: *Мой папа работает дальнобойщиком, и я хотел бы с ним больше общаться, поэтому прошу в подарок телефон...*;

3. Адресат (кому?) выступает субстанциональным участником коммуникации, ему адресован текст «детского письма».

Адресат письма как речевого жанра может обладать рядом параметров, общих с характеристиками категории автора: а) важны социологические, психологические, гендерные, возрастные особенности адресата; б) адресат может быть определенным, то есть названным/неназванным автором, а может остаться неопределенным; в) по количеству тех, кому адресовано письмо выделяют нулевой адресат (безадресное письмо), моноадресат (адресатом выступает только один человек), полиадресат (адресатом могут быть два и более человека); г) особую роль при характеристике адресата играют его взаимоотношения с автором (например, является ли он «своим или чужим», важным в эмоциональном плане и т.д.) [Лебедева 2001, с. 8]. Характеристика адресата по предложенным параметрам помогает выявить авторское отношение к тому, кому предназначено письмо.

В представленном для анализа материале адресатом является Дед Мороз. Категория данного адресата имеет следующие характеристики: вымышленное лицо мужского пола, старшей возрастной категории, эксплицитированный (получатель называется автором) моноадресат: *Здравствуй, добрый Дедушка Мороз...; Письмо Деду Морозу...*; Редко ребенок в качестве адресата приписывает внучку Деда Мороза – Снегурочку: *Здравствуйте, Дед Мороз и Снегурочка...; Письмо Дедушке Морозу и Снегурочке...*; В этом случае характеристики адресата дополняются следующим образом: вымышленное лицо женского пола, предположительно юного возраста, находящееся в родственных отношениях с основным адресатом. Если предполагаемый получатель назван самим автором и состоит из двух и более человек, то его считают явным полиадресатом.

«Детское письмо» как жанр ЕПР характеризуется наличием так называемого «потенциального» адресата (читателя). Запланированный автором адресат не существует в реальной жизни, у него нет возможности получить письмо самому, поэтому оно попадает к «потенциальному читателю», «незапланированному адресату», иными словами к любому лицу, которое окажется свидетелем речевого общения ребенка с вымышленным персонажем – «наадресату», согласно М.М. Бахтину [Бахтин 1979, с. 248].

4. *Знак или письмо как вид речевой деятельности* «имеет две стороны - содержательную (что?), и формальную (как?)» [Лебедева 2001: 9]. Содержательная сторона «детского письма» как жанра ЕПР обладает своими параметрами: диктумно-модусным содержанием и особенностями структуры.

По теории Ш. Балли, в семантической структуре письма можно выделить две части: диктум (от лат. *dictum* – слово) и модус (от лат. *modus* – способ) [цит. по Евсеева 2007, с. 324]. Диктум – это объективное содержание письма – события или ситуации, определённым образом отразившиеся в сознании пишущего. Модус – это субъективное содержание письма, дополнительное сообщение об отношении пишущего к объективному содержанию. Диктумно-модусное содержание детских писем Деду Морозу: название праздника и предпочитаемого подарка. Например, *К Новому году я хотел бы получить ролики...; Я хочу бегемотика Гошу...; Мне бы хотелось много новых компьютерных игр...;*

Модус праздничности «детского письма» Деду Морозу определяет экспрессивное содержание. Синтаксический уровень отмечен преимущественным использованием восклицательных предложений: *Я хочу, чтобы в моей семье все было замечательно! и др.;* Главной особенностью лексического уровня является использование эмоционально-экспрессивной лексики, с положительной оценкой: *Дорогой Дед Мороз!, Желаю Вам прекрасного настроения! и др.;* Морфологический уровень отличается использованием уменьшительно-ласкательных аффиксов: *Дедушка Мороз, Катюша и др.;*

5. *Графико-пространственный параметр знака (как?).* Важными для многоаспектного описания письма как жанра ЕПР

являются такие параметры знака, как особенности языкового кода, графическо-пространственный вид письма, особенности подчерка (его правильность с точки зрения формы и содержания). Анализируемые детские письма написаны кириллицей, имеют как рукописный, так и печатный варианты. В рукописных вариантах важен графологический параметр (выбор типа букв и знаков, подчерк). Большинство писем написаны обычным почерком. Встречаются также напечатанные на компьютере и распечатанные тексты детских писем. «Они выполняют, скорее, эстетическую, образную функцию, отражают стремление автора вызвать у адресата признание, в связи с тем, что он может позволить себе подобную коммуникацию» [Сухотерина 2007, с. 99].

Помимо вербального кода авторы писем Деду Морозу используют разнообразные графические паравербальные средства: *рисунки (снежинки, Дед Мороз и Снегурочка, новогодняя елка, конверт, мешок с подарками, дом и др.), картинки, расположение текста на бумаге, шрифты, отступ, цвет, смайлы и проч.* Таким образом, тексты детских писем Деду Морозу являются креолизованными. «Креолизованные тексты – это тексты, в структурировании которых наряду с вербальными применяются иконические средства, а также средства других семиотических кодов (цвет, шрифт и др.)» [Анисимова 2003, с. 3]. Цвет чернил, рисунков, картинок, бумаги играет большую роль, так как имеет символическое значение. Дети используют для выделения значимых частей текста яркие, бросающиеся в глаза оттенки различных цветов (красного, синего, желтого и др.). Малое количество писем написано обычными синими чернилами, почти всегда в таких письмах отсутствуют картинка и рисунок. Это можно объяснить следующим образом: наличие паравербальных средств не только характеризует автора как творческого человека, но и отражает эмоциональное состояние ребенка в момент написания письма.

6. *Орудие и средство написания знака (чем?).* Тексты писем могут быть написаны при помощи разнообразных орудий и средств. Большинство исследованных детских писем написаны при помощи шариковой ручки (орудие) и чернилами разного цвета (средство). В напечатанных на компьютере и распечатанных текстах разделение орудия и средства считается факультативным, так как они совпадают (компьютер). Для изображения паралингвистических средств дети

использовали орудия и средства, которые также денотативно совпадают: карандаши, фломастеры.

7. *Субстрат* представляет собой материал, посредством которого осуществляется коммуникация. Автор при выборе материального субстрата руководствуется своим замыслом и выбранным жанром ЕПР. Так, для написания «бумажных» писем используется бумага (на ней пишут письмо, из нее сделан конверт и марки). Детские письма Деду Морозу написаны на листах бумаги разной величины и качества (бумага для печати, тетрадные листы, обложка тетради). Субстрат «детского письма» как жанра ЕПР представляется носителем информации, доступной любому человеку. Так, например, исходя из характеристик субстрата, можно получить некоторую информацию о содержании послания: объем имеющейся информации (по объему и размеру конверта), тип информации (праздничная), повод (Новый год) и проч.

8. *Место расположения (в чем?)*. Письмо по традиции должно располагаться в конверте, на котором обозначаются отправитель и получатель, их адреса, почтовые индексы. На конверте могут располагаться марки, картинки, приписки и подчеркивания автора, печати. Свои письма многие из детей не стали помещать в конверты, а изобразили их в виде фигурно сложенных листов. Если автор письма использует конверт, то он выполнен своими руками. В проанализированном материале только один ребенок предпочел поместить свое письмо в готовый почтовый конверт.

9. *Среда коммуникации (где?)* предполагает характеристику условий, в которых протекает общение. «Детское письмо» функционирует в ситуации предстоящего праздника – Нового года. Адресатом детских писем является вымышленное лицо, поэтому условия протекания коммуникативного акта будут зависеть от места нахождения «потенциального» читателя. Например, коммуникативный акт будет считаться совершенным здесь и сейчас, если письмо, сразу же после его написания, заберут родители, чтобы в дальнейшем исполнить желание ребенка.

10. *Коммуникативное время (когда?)* – это определенный отрезок времени между непосредственным созданием текста автором и восприятием его адресатом. «Детское письмо» как жанр ЕПР можно

отнести, с одной стороны, к группе текстов с прочтением и без сохранения (по классификации Н.Б. Лебедевой). Например, когда текст письма отправляют в различные организации (школу, детский сад, администрацию и т.д.), то велика вероятность, что письма прочитают и не сохранят. С другой стороны, если в качестве «потенциальных» читателей выступают члены семьи, то письма могут оставить на память, в этом случае, «детское письмо» можно отнести к группе с прочтением текста и его сохранением. Субстрат и средства написания «детских писем» обеспечивают долговременность хранения текстов.

11. *Параметр «ход коммуникации».* Информация, содержащаяся в письмах без конверта, является открытой, обуславливая тем самым открытый ход коммуникации. Те письма, которые помещены в конверты, относятся к текстам с закрытым ходом коммуникации.

12. *«Социальная оценка»* включает в себя ряд нормативных параметров: этических, интеллектуальных, эмоциональных, культурологических, выделение которых определяется спецификой исследуемого жанра ЕПР [Лебедева 2001, с. 10]. Социальная оценка детского предновогоднего письма Деду Морозу складывается из: внешнего оформления (эстетическая оценка), субстрата (на социальную оценку влияют качество, размер бумаги), цели написания послания, наборов лингвистических и паралингвистических средств (эмоциональная, интеллектуальная оценка). С этической точки зрения, в обществе положительно относятся к письмам, авторами которых являются дети разных возрастов.

Таким образом, рассмотрение «детского письма» в рамках коммуникативно-семиотической модели Н.Б. Лебедевой позволило выявить ряд компонентов, наиболее значимых для определения жанровой специфики «Детского письма» жанра ЕПР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Анисимова, Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов) / Е.Е. Анисимова. – Москва: Academia, 2003. – 122 с. – (Высшее образование).

Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – Москва, 1979. – С. 237-245.

Евсеева, И.В., Лузгина, Т.А., Славкина, И.А., Степанова, Ф.В. Современный русский язык: Курс лекций / И.В.Евсеева, Т.А.Лузгина, И.А.Славкина, Ф.В.Степанова. – Красноярск, 2007. – 642 с.

Лебедева, Н.Б. Естественная письменная русская речь как объект лингвистического исследования / Н.Б. Лебедева // Вестник БГПУ: Гуманитарные науки. – Барнаул, 2001. – № 1. – С. 4-11.

Седов, К.Ф. Анатомия жанров бытового общения / К.Ф. Седов // Вопросы стилистики. – Саратов, 1998. – № 27. – С. 9-20.

Сухотерина, Т.П. «Поздравление» как гипержанр естественной письменной русской речи: дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук / Т.П. Сухотерина. – Барнаул, 2007. – 250 с.

Н.В. ГОГОЛЬ В НЕЮБИЛЕЙНОМ КОНТЕКСТЕ

В.Д. Денисов¹

*Российский государственный гидрометеорологический университет
(Санкт-Петербург)*

О МАЛОРОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ Н.В. ГОГОЛЯ²

Статья посвящена попыткам Н.В. Гоголя в начале 1830-х годов создать малороссийский исторический роман «Гетьман» и двум его опубликованным фрагментам, а также повести, которую можно считать воплощением замысла о герое-гетмане.

Ключевые слова: раннее творчество Н. В. Гоголя, поэтическая история Малороссии, диалог культур, козаки³, сборник «Арабески», роман «Гетьман», «Глава из исторического романа», фрагмент «Пленник» или «Кровавый бандурист», «Главы исторической повести».

V.D. Denisov

*Russian State Hydrometeorological University
(Saint-Petersburg)*

ON A LITTLE-RUSSIAN HISTORICAL NOVEL BY NIKOLAI GOGOL

¹ Владимир Дмитриевич Денисов, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Центра международных связей Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ, Санкт-Петербург); e-mail: vladdenisoff@mail.ru.

² Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-04-00510.

³ В слове *козак* и производных от него (для Гоголя они обозначали воинское единство, какое сложилось в особых исторических условиях и стало основой народа) везде в нашей статье сохранено написание гоголевских черновых редакций.

The article is devoted to Nikolai Gogol's early 1830s attempts to create a Little-Russian historical novel «Getman» and also to its two published pieces, as well as a novelette which can be treated as the epitome of Gogol's intention to portray a hetman-hero.

Key words: Nikolai Gogol's early work, a poetic history of Little Russia, the dialogue of cultures, the Cossacks, Gogol's prose collection «Arabesque», the novel «Getman», «A Chapter from a historical novel», the piece «The Prisoner (Bloody bandurist)», «Chapters from a historical novelette».

Издание цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) и его успех привели Гоголя к идее создать научно-поэтическую историю Малороссии. Для этого он стал собирать материалы и переосмысливать украинскую тему в общероссийском и мировом масштабе. В то же время поэтическая интерпретация накопленных фактов давала простор его творческой фантазии, порождала художественные образы, отменяла хронологические и пространственные границы, связывала прошлое с настоящим. Все это, в конечном итоге, и обусловило отказ молодого писателя от научно-исторических штудий ради художественно-образного «живого урока» современникам, основой которого стали исторические сведения – разнообразные и разновременные, но одинаково актуальные для автора и читателей.

Основная канва была взята из печатных и рукописных источников, а среди них – три главные. Это первые тома «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, которую тогда уже считали фундаментально-образцовой. Второй источник – официальная «История Малой России, от присоединения ее к Российскому государству до отмены гетманства...» Д.Н. Бантыш-Каменского (1822), объяснявшая, как религиозно-освободительная борьба привела украинцев к воссоединению с Россией¹. Ее появление стало событием для украинцев – и Гоголь, видимо, ознакомился с «Историей» еще в гимназии. В середине 1820-х годов – возможно, как отклик на этот труд – стала ходить в рукописи «История Русов, или Малой России»,

¹ Далее цит. по 2-му изд.: Бантыш-Каменский, 1830

приписывавшаяся святителю Георгию (Конисскому)¹ [о нем см.: Казарин, 1986, с. 21-23]. В *ИР* украинцы именовались исконно «русским народом», и повествовалось о его великих бедствиях, борьбе и ужасных жертвах во времена польско-католической экспансии после введения Унии 1596 г. Эта «История» стала известна Гоголю в Петербурге по списку, скорее всего, О.М. Сомова – уроженца Слободской Украины, журналиста, переводчика, автора малороссийских исторических и бытовых повестей, редактора альманаха «Северные Цветы» и «Литературной Газеты», – которому Гоголь, видимо, и был обязан публикациями в этих изданиях. Кроме того, он имел свои основания доверять *ИР*: сын бургомистра Нежина Г.И. Конисский был ректором Киевской Духовной академии во время учебы деда Гоголя, а затем стал знаменит борьбой за православную Веру в присоединенных западных землях.

Идея художественно обработать *всё* богатство собранного исторического материала не оставляла Гоголя, по-видимому, до осени 1835 г. (так, подзаголовок цикла «Миргород» 1835 г. – «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”» – подразумевал и *продолжение* поэтической истории народа). В дальнейшем же такое соединение творческих и научных трудов, какое сам автор считал тогда перспективным и незавершенным, приведет к разработке «объемлющих всю Россию», историософских, по сути, религиозно-исторических сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ»². Однако еще не было отмечено, что на рубеже 1833 – 1834 годов Гоголь как бы возвратился к началу творческого пути, когда он пытался создать исторический роман...

В сборнике «Арабески» (1835) он поместил одно из своих первых произведений – «Главу из исторического романа» 1831 г.³, сопроводив ее следующим примечанием: «Из романа под заглавием “Гетьман”; первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периодических

¹ При ссылках на этот текст – в круглых скобках *ИР* и № стр.

² См. об этом: Золотуский, 1979.

³ О ней: Манн, 1994, с. 234-241; анализ см. в нашей предшествующей статье: Денисов, 2014, с. 128-133.

изданиях, помещаются в этом собрании» [Гоголь, 1835, ч. I, с. 41]¹. Это единственное упоминание о романе и связи с ним двух фрагментов: «Главы...» и «Пленника. Отрывка из романа», датированных в сборнике «1830» – временем появления первых русских исторических романов «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» М.Н. Загоскина и «Димитрий Самозванец» Ф.В. Булгарина.

Таким образом, впервые являясь читателям под своим именем в «Арабесках», Гоголь, по-видимому, хотел заявить, что это он еще до «Вечеров...» создал **первый** исторический малороссийский (как следовало из названия) роман, который соответствовал литературной «моде» того времени и ожиданиям читателей. А в доказательство приводились «две главы, напечатанные в периодических изданиях», т.е. востребованные читателями (хотя публикацию второй «главы» не удалось отыскать). При этом обращает на себя внимание как сознательный отказ автора от формы «вымышленного» романического повествования («потому что... не был ею доволен»), так и уничтожение огнем всего несовершенного – в пользу «достоверности» повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а затем научного и творческого осмысления художником-ученым в «Арабесках» прошлого и настоящего.

Название (якобы сожженного текста) исторического романа было понятно всем знавшим, что украинских гетманов до 1708 г. выбирали «из рыцарства вольными голосами» (*ИР*, 7). Это подразумевало не только типичность, но и некую исключительность героя, избранного козаками предводителем. А территориальный принцип войскового устройства, которое создал Стефан Баторий (по другим сведениям – князь Е. Ружинский или Д. Вишневецкий, – см.: *ИР*, 15-16) и согласно которому «Украина разделилась на 10 полков (каждый со своим городом), полки делились на сотни (каждая со своим местечком...), а сотни на курени (со слободами, селами и хуторами)» [Максимович, 1834, с. 4], связывал судьбу гетмана с историей народа, наделяя его и военной, и гражданской властью. Н.

¹ Цит. по этому изд., указывая в скобках том – *римской* цифрой, страницу – *арабской*.

Маркевич отмечал, что «Гетман тот же Roi, Круль и Rex... царь, избранный народом... Гетманство тоже правление монархическое избирательное», и считал такими гетманами Наливайко, Сагайдачного, Хмельницкого, Павла Полуботка и Мазепу [Маркевич, 1831, с. 121]. И образованный читатель того времени отчетливо представлял ряд украинских гетманов, который заканчивался К.Г. Разумовским, расставшимся с этим званием в 1764 г., когда Екатерина II упразднила автономию *Гетманичины* на Левобережной Украине и само *гетманство*.

А для общественного сознания были тогда (и остались до сих пор!) актуальны ДВА украинских гетмана, противопоставляемых официальной историей. Это спаситель отечества Богдан Хмельницкий (в народном понимании – избавитель, данный Богом, наделенный от Него властью, воссоединивший две части православного народа) и демонический изменник Мазепа, отчужденный от Бога, народа и власти своим клятвопреступлением и за это превозносимый на современной Украине. Образы гетманов запечатали эпические произведения того времени: поэма Байрона «Мазепа» (1818), роман Ф. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» (1817, опубл. 1819), думы К. Рылеева «Богдан Хмельницкий» (1822) и «Петр Великий в Острогжске» (1823), его же поэма «Войнаровский» (1825), знаменитая пушкинская «Полтава» (1828), поэма «Мазепа» (1829) В. Гюго, анонимно изданная поэма «Богдан Хмельницкий» (1833), романы П. Голоты «Иван Мазепа» (1832) и «Хмельницкие» (1834), роман Ф. Булгарина «Мазепа» (1833-1834). Главного героя произведений характеризовала соответствующая любовная коллизия – *созидательная* для него и его семьи или, наоборот, как в поэме «Полтава», *разрушительная*. И, воспроизводя заглавие романа, Гоголь просто не мог этого не учитывать. Но представленные им две главы исторического романа «Гетьман» не соответствовали ожиданиям читателя «Арабесок» хотя бы потому, что здесь, на первый взгляд, ни о каком *гетмане* речь не шла и не было даже намека на любовную коллизию. Да и само упоминание о романе «Гетьман» читатель лишь мог принимать на веру: «Глава...» и отрывок «Пленник» абсолютно различны как по сюжету, так и по стилю.

Изначально фрагмент «Пленник» под названием «Кровавый

бандурист. Глава из романа», с подписью «Гоголь» и датой «1832», предполагал напечатать журнал «Библиотека для Чтения» (1834. Т. II. Отд. I «Русская словесность». С. 221-232), уже объявивший среди своих авторов Пушкина и Гоголя. Но если повесть Пушкина «Пиковая дама» в этом разделе напечатали, то против гоголевской публикации (видимо, и под влиянием О.И. Сенковского) выступил редактор журнала Н.И. Греч, чье мнение поддержал цензор А.В. Никитенко, запретивший печатать эту «картину страданий и унижения человеческого, написанную совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительную, возбуждающую не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение» [цит. по изд.: Греч, 1952].

Однако, судя по тому, что в первоначальном плане сборника «Арабески» фигурирует название «Кровавый бандурист» [Гоголь, ИРЛИ], автор до июня 1834 г. не оставлял надежды опубликовать всю «главу из романа», а потом отказался от ее кровавого финала и соответственно переименовал заглавие на «Пленник». Поэтому дата «1830» под отрывком в «Арабесках» могла быть поставлена для согласования с «Главой...». Но остается неясным: «Пленник» – самостоятельное художественное целое, или глава одноименного романа, или какая-то часть романа «Гетьман», как утверждалось в примечании (ведь здесь – так же, как в «Главе...», – речи о каком-либо гетмане вроде бы не идет). Весьма проблематично выглядит и заявленное автором в примечании *единство* «Главы...» и «Пленника»: несмотря на одну и ту же дату создания и единое место действия – под Лубнами на Полтавщине, между фрагментами **нет** никаких отчетливых сюжетных и вообще смысловых **связей**.

Более того, если действие в «Главе...» явно отнесено ко временам Хмельнитчины (1650-м годам), то датой «1543 год» в «Пленнике» обозначено время, когда украинцы не знали ни гетманов, ни иезуитов. Предводителей козаков стали называть гетманами после Люблинской унии 1569 г., объединившей Великое княжество Литовское – с Малороссией в его составе – и Польское королевство в государство Речь Посполиту, куда затем и проникли иезуиты. Сложнее вопрос о времени основания «рейстровых» (реестровых) коронных войск [см.: Казарин, 1986, с. 66-67]. Источники, известные Гоголю, указывали: эти войска были созданы в 1572 г. королем Сигизмундом II

Августом (1520–1572, коронован в 1530) из украинских козаков, принятых на военную службу польским правительством и внесенных в особый список-реестр – в отличие от нереестровых козаков, которых оно официально не признавало. Однако в «Истории Русов» (а ей тогда больше доверяли и Гоголь, и Пушкин) эта заслуга приписана князю Е. Ружинскому, который в начале XVI в. «по изволению короля Сигизмунда Первого <...> учредил в Малороссии двадцать неперменных козацких полков»; они наполнялись «выбранными из куреней и околиц шляхетских молодыми Козаками, записанными в реестр военный до положенного на выслугу срока, и от того названы они реестровыми Козаками» (ИР, 15-16).

Таким образом, отрывки *одного* романа, помещенные в *разных* частях сборника, не только принципиально *различны* по стилю, но и отделены во времени действия почти на 100 лет! И причиной столь явного анахронизма, вероятно, была авторская установка «смягчить» тенденциозность «Кровавого бандуриста»¹, предназначенного для публикации в журнале, которым «самоуправно» командовал поляк О.И. Сенковский. О том же говорит и датировка изображаемого, и его намеренная «средневековость». Они должны были свидетельствовать об *извечном* конфликте Козачества с Польшей и Литвой, о чем упоминалось в «Истории Малой России» [Бантыш-Каменский, 1830, ч. 1, с. 151-169, 197-227]. Отчасти это подтверждает образ предводителя отряда «рейстровых коронных войск» – серба с «неизмеримыми усами», какими в других исторических произведениях Гоголя наделен только *польский* военный.

Все это означает, что «Остржаницей» в тексте с куда большим правом, чем гетман Острица, на которого обычно указывают исследователи², мог именоваться уроженец г. Острога («остржанин», пол. «остржаница») гетман Наливайко. Он возглавил первое выступление козаков против унии в 1594–1596 годах, но потерпел поражение от поляков «при Лубнах, на урочище Солонице» (поблизости от места действия во фрагменте) и был замучен в Варшаве в 1597 г. [Летопись Малой России, 1777, с. 10-11; Бантыш-Каменский,

¹ Далее «Кровавым бандуристом» называется и весь прежний фрагмент, и его отделенное из-за цензуры окончание.

² См., например: Воропаев, 1994, т. 7, с. 528.

1830, ч. 1, с. 176]. По сведениям некоторых источников, почти там же, под городком Лукомлем, в 1638 г. было разбито войско Острианицы.

Вероятно, соединив в «Остржаницу» прозвища двух гетманов, известных злосчастной судьбой, автор так назвал трагического героя, чей образ определял стиль повествования. Подтверждается это в повести «Тарас Бульба», где *тип* героя-гетмана вновь «раздвоится» на два трагических образа: Наливайко («...гетман, зажаренный в медном быке... лежит еще в Варшаве». – II, 309) и Острианицы («...голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками». – II, 352). А явный анахронизм во фрагменте указывает, что показ трагического, «рыцарского» и нерыцарского, чудесно-ужасного, живого «земного» и мертвого «подземного» обусловлен авторским пониманием данного периода истории Малороссии как времени мифологически-средневекового, когда кровавый конфликт вольности и насилия, народного и чужеземного, духовного и телесного отражал противоборство Божественного и дьявольского – как это было в средние века в Европе.

Подобная «средневековость» действия предопределила *готический* стиль изображения. И хотя «Пленник» по стилю напоминает произведения «неистой словесности» [Виноградов, 1976, с. 91-94], думается, Гоголь использовал поэтику ее «готического» предшественника, чьи мотивы различимы в «Главе из исторического романа». Об этом свидетельствуют переключки с готическим романом М.Г. Льюиса «Монах»¹, где описаны мрачные монастырские катакомбы со странными звуками, похожими на стоны погребенных заживо [Льюис, 1802-1803, ч. 3, с. 88-101]. Там за нарушение монашеского обета заточена сестра Агнесса, чью одежду составляет также «одна епанча»; ужас девушки тоже вызывают темнота, «зловредный и густой воздух... пронзительный хлад», «холодная ящерица... отвратительная жаба, изрыгающая черный яд»; Агнессу спасают, услышав стоны в пустой пещере [Там же. Ч. 4, с. 117, 129, 131, 197]. Можно заметить, как преобразуются эти мотивы в

¹ Среди подписчиков на эту книгу первым указан Д. П. Трошинский – дальний родственник и покровитель семьи Гоголей-Яновских. Сама книга, видимо, была в библиотеке его имени Кибинцы и доступна юному Гоголю.

«Кровавом бандуристе»: настоятель православного монастыря считает «дьяволами» незваных гостей-поляков, девушку-воина бросают в мрачное монастырское подземелье-кладбище, и она, обращаясь к Богу, преодолевает дьявольское искушение предательства. Насильственное разоблачение ее, когда взорам мучителей предстают чудные волосы, «очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные обнаженные груди», а потом «снежные руки» (III, 307, 309), напоминает постепенное саморазоблачение Матильды перед аскетом Гиларием; тем же были поражены и полицейские, когда они схватили мнимого монаха и сняли с него одежду. Здесь же описывался и «окровавленный призрак» монашки Беатрикс, жертвы преступной страсти [Льюис, 1802-1803, ч. 2, с. 171]. Подобные готические мотивы были представлены и в популярных тогда романах В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», Ч.Р. Метьюрина «Мельмот-Скиталец» и – значительно трансформированные – в других знаменитых произведениях «неистой словесности» [см. об этом: Гоголь, 2009, с. 934-935]. На этом фоне «кровавый бандурист», с которого содрана кожа, – явно мученик за православную веру (так, по легенде, казнили апостола Варфоломея), и появление кровавого «фантома», вероятно, должно предостеречь девушку-воина от предательства. Призрак мог появиться и потому, что бандурист стал жертвой насилия, и потому, что героиня (вдова?) жаждет отомстить за его смерть во что бы то ни стало.

В «Кровавом бандуристе» есть и другие литературные реминисценции. Основной мотив – девушки или жены-воина – характерен для средневекового эпоса и позднейших подражаний ему. Так, среди персонажей рыцарской поэмы Ариосто «Неистовый Орланд» (1516), как бы венчающей героическую эпическую Средневековья, есть девы-рыцари Марфиза и Брадаманта. Переводивший «древние поэмы Оссиана» (на самом деле – стилизацию поэта Макферсона) Е. Костров, «предупеждая» читателя о нравах древних каледонцев (шотландцев), замечает, что «супруга, любящая с нежностью своего Героя, следовала иногда за ним на войну, преобразясь в ратника. Такие превращения часто встречаются в поэмах нашего Барда...» [Макферсон, 1818]. В балладе В. Скотта «Владыка огня» (1801) жена рыцаря-отступника, принявшего ислам, переодевается в пажу, чтобы увидеть мужа, бросить ему вызов, и погибает на поединке с ним.

Образ *девушки – узницы подземелья* был характерен для немецкого рыцарского романа, откуда перешел в роман готический, а потом и романтический.

Впрочем, средневековые приметы «черного» (готического) романа: ужасные тайны, подземелья, кровавые призраки, сцены насилия, загадочно-демонические незнакомцы – были использованы в исторических романах и повестях, переключки с которыми тоже весьма значимы для фрагмента. Так, его начало соотносится с началом последней главы в повести Сомова «Гайдамак» (1826): отряд козаков везет связанного по рукам и ногам разбойника-гайдамака Гаркушу. В романе Загоскина «Юрий Милославский» (1829) героя заточили в таком же «мрачном четырехугольном подземелье» разрушенной церкви. А ситуация, когда в захваченном воине опознают женщину, уже была фактически травестирована Гоголем в повести «Майская ночь, или Утопленница» (1831): один неопознанный пленник брошен в темную комору, другой – в темную хату для колодников, в том и в другом случае вместо ожидаемого «демона» перед Головой и его отрядом возникает... «свояченица» (идентичны при этом и «побранки» на узников). Образ «закипевшего кровью» призрака находит соответствие не только в «неистойной словесности», на что неоднократно указывали исследователи, но и в козацких летописях [Паламарчук, 1990, с. 420] и той части легенды в «Главе...», где пану «чудится»: из ветвей сосны «каплет человечья кровь», она «вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною, всклокоченною бородою» (III, 316).

Само заглавие «Пленник» (тем паче «Кровавый бандурист»!), если сравнить с нейтральным «Глава из...», уже подразумевает конфликт. Его определяет та же атмосфера **насилия**, что в легенде из «Главы...». Ночью в городок входит отряд «рейстровых коронных войск», чье появление обычно «служило предвестием буйства и грабительства», но на этот раз «к удивлению... жителей» внимание солдат приковывал пленник «в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями... (так поступали с пойманными на охоте дикими зверями. – В.Д.). Пушечный лафет был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. ...толстый канат... прирастил его к седлу» (III, 301). Даже

«месяцу» не разглядеть «капли кровавого пота» на лице «несчастливого пленника», ибо «оно было заковано в железную решетку», а солдаты отгоняют любопытных, показывая грозный «кулак или саблю» (III, 301-302). **Насилие** проявляется и по отношению к служителям Православной церкви: воевода стреляет в церковное окно, бранится и богохульствует, угрожает расправой (ср. в легенде: глумление над дьяконом и его казнь). Запрещенный цензурой финал отрывка добавлял натуралистическую картину пыток и кровавый образ казненного бандуриста.

Таким образом, в «Пленнике» – так же, как в легенде из «Главы...», – конфликтующие стороны открыто противостоят друг другу. Неправедную оккупационную власть, основанную на силе оружия, представляют польские солдаты и наемники, которые одновременно и презирают, и боятся козаков, видят в них дикарей, почти животных (примерно таков смысл вопроса воеводы: «...чего они так быстры на ноги, собачьи дети?» – III, 307). Жертвами насилия выступают жители; муки испытывает пленник. Не зная об ужасном финале, читатель мог лишь предположить, что это не мужчина, по «слабому стенанию», ужасу и обмороку...

Но воины, способные наслаждаться «муками слабого», тем более девушки, за чьи «снежные руки... сотни рыцарей переломали <бы> копьей» (III, 309), не могут быть рыцарями! Демоническое в них обусловлено и «смешением пограничных наций». Так, в роли готического злодея здесь выступает «интернациональный» начальник польского отряда – «родом серб, буйно искоренивший из себя всё человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол» (III, 304). А настоящим Рыцарем, несмотря на свои слабости, предстает пленница в доспехах и шлеме с забралом – своеобразный андрогин, олицетворяющий сопротивление Украины насилию захватчиков. Ведь если женщина, вопреки традициям и собственной природе, берется за оружие – значит, исчерпаны другие возможности сопротивления, переполнилась чаша народного гнева!

Именно этому соответствует художественное (а не хронологическое) время действия в отрывке. Для читателя, хотя бы отчасти знакомого с историей Украины, упоминание о «рейстровых

коронных войсках» делало очевидной некорректность датировки «1543 год». Она же нарушала принятое автором в «Вечерах» и 1-й ред. «Тараса Бульбы» **ограничение** исторического повествования серединой **1570**-х годов, когда легендарный козацкий предводитель Иван Подкова (Серпяга) владел молдавским престолом (1577–1578), за что и был казнен по приказу Стефана Батория. Это начало правления самого Батория – польского «короля Степана» (1576), который якобы создал регулярное козацкое войско. А религиозная война, показанная в отрывке, началась **после** Брестской унии **1596** г., когда простые украинцы оказали яростное сопротивление польско-католической экспансии, в то время как многие почтенные и знатные люди, в том числе из козацкой старшины, унию приняли.

Отмеченные в гоголевском фрагменте реминисценции, переключки, сходство ситуаций с литературными и фольклорными произведениями расширяют панораму повествования, вовлекая в него дополнительные планы, пересечение которых и образует «сверхсмысл». Но единственно схожим со всем «Кровавым бандуристом» по тематике, стилю и датировке гоголевским произведением следует признать «Страшную месть» (1832), где мир прошлого с приметами XVI–XVII веков тоже воссоздавался на готической основе, включавшей народные предания, поверья, песни, апокрифы. Чудесное, невероятное – по законам жанра – здесь тоже представляло как **демонически ужасное** (например, появление колдуна на свадьбе или вызывание им души дочери Катерины). А сама жизнь отступника Козачества становилась символом противоестественного, почти животного (сродни волчьему), нехристианского существования. Наоборот, в «Кровавом бандуристе» ужасные муки героев-страдальцев, по-христиански пренебрегающих «телесным», символизируют искупительную жертву во имя национальной независимости. Соответственно тому изображены жители «страны, терпевшей кровавые жатвы», храм и его настоятель, а также катакомбы как «иной мир» – разрушительный для тела и спасительный для души.

По замыслу Гоголя, готические повесть и фрагмент по-своему отражали народное прошлое. Однако – в отличие от «Страшной мести» – готические черты «Кровавого бандуриста» не были

«уравновешены» собственно фольклорным материалом, хотя литературно-фольклорные параллели основных мотивов очевидны: попрание христианских канонов и кара за это, подземный мир смерти, девушка-воин, бандурист. И подобную «литературность», сближающую фрагмент с «Главой из исторического романа» и повестью «Вечер накануне Ивана Купала», написанными в 1830 г., можно рассматривать как характерную особенность ранних гоголевских произведений. Опираясь на известные тогда литературно-фольклорные параллели, используя типичные шаблоны русской и европейской литературы, автор ограниченно вводит фольклорный материал, которым, видимо, в то время еще владел недостаточно, или подвергает его значительной литературной переработке.

Все это позволяет полагать, что в 1831-1832 годах, создавая новые повести «Вечеров», Гоголь начал большую историческую («готическую») вещь, намек на которую, по мнению исследователей, содержит предисловие ко 2-ой части цикла, где Рудой Панек заявлял: «...для сказки моей нужно, по крайней мере, три такие книжки» (I, 713). Работа над ней возобновилась летом 1833 г. А когда возникла необходимость дать что-то новое в журнал «Библиотека для Чтения», Гоголь обработал один из ярких набросков этой вещи, назвав его «Кровавым бандуристом». Позднее он укоротил отрывок и назвал «Пленник», чтобы включить его вместе с «Главой...» в разнородную структуру сборника как **две главы одного исторического романа**. Поэтому заявленный в примечании к ним **отказ от всего романа**, на наш взгляд, подтверждает, что автор в итоге предпочел современную «синтетическую» форму научно-художественных «Арабесок», где *малороссийское* оказывалось заведомо меньше *всемирного* как его часть. Видимо, потому отрывкам романа и статье «Взгляд на составление Малороссии» (как отрывку ее истории) в сборнике предпосланы примечания, что все эти *арабески*, входя в принципиально неполный «малороссийский» контекст, дают лишь представление о контурах и жанре возможного многопланового исторического целого – *романа*.

Но было ли в каком-либо виде создано Гоголем подобное повествование о **гетмане** или нескольких гетманах? – Можно лишь догадываться... Дело в том, что «недостающие» читателю «Арабесок» основные элементы сюжетной схемы заявленного исторического

романа о гетмане (в том числе – обязательная любовная коллизия) восполняются в большом рукописном отрывке, найденном после смерти писателя в его бумагах [Гоголь, РГБ]. Уже при первой публикации этого текста, написанного «на отдельных листках самым неразборчивым почерком», издатели полагали, что он «принадлежит к самым молодым произведениям нашего автора и писан может быть еще до появления “Вечеров на хуторе близь Диканьки”, но в нем... проглядывает то художественное представление страны и характеров, которое с такою полнотою развилось в *Tarasе Бульбе* и других... произведениях» [Гоголь, 1855-1856. Т. 5. С. IV, 411]. По наблюдениям исследователей, 5 полулистов с текстом были вырезаны из Записной книги [Гоголь, РГБ, с. 172-173], где в черновой записи повести «Портрет» остались корешки, точно совпадающие с этими 5 вырезанными страницами [Гоголь, 1889-1896, т. V, с. 549; см. об этом также: Чарушникова, 1976]. В копии текста, сделанной П.А. Кулишом, зафиксировано лишь несколько гоголевских исправлений и приписок [Гоголь, ИРЛИк], а позднее Н.С. Тихонравов обратил внимание на принадлежность к тому же тексту и скопированных Кулишом отдельных черновых вариантов [Гоголь, 1889-1896, т. IV, с. 549-551]. Очевидные нестыковки – например, вариативность имен и характеристик героев – на наш взгляд, свидетельствуют о том, что здесь впервые были сведены для работы какие-то давние предварительные наброски.

В гоголеведении этот текст стали считать непосредственным началом романа «Гетьман» (III, 711-716) и соединять с фрагментами того же романа, какими, по утверждению Гоголя в «Арабесках», были «Глава из исторического романа» и «Пленник». Не отрицая связи рукописи с замыслом «Гетьмана», мы полагаем, что объявлять ее началом такого романа нет оснований, если «первая часть его была написана и сожжена», а принадлежность к нему обеих напечатанных «глав» и сюжетное их (а также смысловое) единство, как было показано выше, сомнительны. Поскольку намеченные в рукописи главки по своему объему явно меньше, чем у обычного романа того времени, и в них кратко упомянуты события, предшествовавшие действию, это может быть жанр *романтической повести*: совокупности эпизодов, важнейших для жизни героя (хотя масштаб и

детали изображаемого, а соответственно и жанр на этом этапе работы вряд ли были тогда ясны самому автору). Следовательно, более точным «рабочим названием» этого произведения, на наш взгляд, будет <Главы исторической повести>.

Видеть в них начало романа «Гетьман» исследователям позволяет прозвище главного героя – исторически достоверного гетмана Острианицы «из козаков» [Летопись Малой России, 1777, с. 14]. В «Истории Русов» описано, как нежинский полковник Степан/Стефан Острианица в 1638 г. был избран гетманом нерестровых козаков и возглавил восстание на Запорожье против польской и украинской шляхты. Он показал себя искусным полководцем, очистив приднепровские города от поляков и наголову разбив польские войска у реки Старицы. Гетман Лянцкоронский позорно бежал, но был обложен козаками в местечке Полонном, и только посредничество русского духовенства спасло ему жизнь. Подписав трактат о вечном мире с поляками, Острианица поверил их клятвам и распустил войско, а сам с немногими старшинами заехал помолиться в Каневский «козачий» монастырь, где был предательски захвачен поляками, отправлен в Варшаву и там после пыток казнен с 37 соратниками (*ИР*, 53-56). В повести «Тарас Бульба» читаем: «...после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками» (II, 352)¹.

Добавим к этому и сведения, в данном контексте еще не фигурировавшие, но многое объясняющие. Внук гетмана Острианицы – полтавский полковник в отставке И.И. Искра – был свояк В.Л. Кочубея, который склонил его донести на Мазепу. Но Петр I не поверил их доносу. Обоих схватили, судили и, после страшных пыток, в июле 1708 г. казнили возле г. Белая Церковь. Когда измена Мазепы стала очевидной, оба семейства невинно убиенных были обласканы и вознаграждены царем, вернувшим конфискованные земли с избытком. После смерти вдовы Искры и его бездетного сына их владения на Полтавщине перешли к Кочубеям, владельцам Диканьки и близким

¹ Согласно летописным источникам, Яков Искра-Острианин был убит в 1641 г. во время выступлений против козацкой старшины на Слободской Украине, куда он увел часть войска после поражения в Жовнинской битве [Воропаев, 1994, т. 7, с. 528-529].

соседям Гоголей-Яновских по имению. Напомним, что В.П. Кочубей занимал высший пост Российской империи – председателя Государственного совета и Комитета министров (с 1827 г.) и наверняка обратил внимание на автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Тем более должно было бы его заинтересовать повествование об Острианице (работу над текстом Гоголь прекратил после внезапной смерти Кочубея в июне 1834 г.).

Причем в этих <Главах...> Острианица был переименован, хотя в «Истории Русов» он назван Степаном / Стефаном (III, 714-715).

Гоголь дал герою украинское имя Тарас (церк. Тарасий, от греч. tarassō – ‘волновать, возбуждать, приводить в смятение, тревожить’), означавшее «бунтовщик, мятежник» [Словарь, 1987, с. 524] и напоминавшее о гетмане Тарасе Федоровиче (Трясыло). Его победа над поляками в ночном сражении 1630 г. осталась в народной памяти как «Тарасова ночь»¹. Вероятнее всего, на этого легендарного могучего (буквально «трехсильного») героя и ориентировалась вначале приуроченная к «1625-му году» [Гоголь, ИРЛИк, л. 3] повесть о герое-страннике или – как он сам говорит о себе – «странной судьбы». Затем Гоголь изменил дату на «1645» – и приблизил время действия к началу Хмельнитчины в 1648 г. При этом следы «двойной» хронологии в тексте сохранились. Так, герои вроде бы говорят о турецком походе 1640 г. (III, 282), но упоминание о «Сиваче» (Сиваше) подразумевает знаменитую «битву при Соленом озере» в походе 1620 г. против татар.

Сочетание имен и прозвищ известных героев-гетманов вкупе с обозначением времени, предшествующего народно-освободительному восстанию, должно было давать читателю представление о **типе** героя. Его сближение с гетманом, который «облагородил и возвысил» народный характер [Максимович, 1834, с. V], закономерно для

¹ По другим сведениям, в 1628 г. малороссийские козаки избрали себе в гетманы некого *Тараса* из простых козаков, а потом «битву учинили с поляками и победили их множество» [Летопись Малой России, 1777, с. 13]. Поэтому контаминацию образов Федоровича и Острианицы в гоголевском тексте можно объяснить и сведениями, что Острианица в 1638 г. – через 10 лет! – тоже был избран в гетманы из простых козаков [Там же. С. 14]. А еще через 10 лет начнется Хмельнитчина...

исторических произведений той эпохи, нередко использовавших фольклорную традицию изображения легендарных героев (в данном случае она обозначена переименованием *Зиновия* в *Богдана*). Гоголь не мог не знать «Песнь о Богдане Хмельницком» – переложенную на польский Л. Рогальским народную песню о гетмане – затем вновь переведенную с польского, точнее, пересказанную О. Сомовым (1821), и стихотворение своего однокашника В. Любича-Романовича «Сказание о Хмельницком» (1829). Обозначение славного «времени Хмельницкого» Гоголь использовал в журнальном варианте своей первой повести «Вечер накануне Ивана-Купала» (1830), где маркировал основное время действия «малолетством Богдана», а затем в повести «Страшная месть» (1832): бандурист «повел про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого», когда «иное было время: Козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним» (I, 279).

Не случайно начало <Глав исторической повести> перекликается с произведениями К. Рыльева – самого известного тогда поэта-историка Малороссии. После успеха поэмы «Войнаровский» (1824-1825) он работал над поэмами и драматическими произведениями о религиозной и национально-освободительной борьбе на Украине в XVI-XVII веках [см.: Рылеев, 1971, с. 29-34, 438-443]. В центре конфликта здесь оказывался харизматический герой, наделенный властью «от Бога» за то, что живет чаяниями своего народа, чувствует и выражает его волю и готов пожертвовать собой для общего блага. И хотя он был наделен характерными чертами легендарных украинских гетманов (Наливайко, Палея, Мазепы), следовало понимать, что его прообраз **один** – спаситель народа Богдан Хмельницкий, а главные события так или иначе напоминают Хмельнитчину 1648-1654 годов. Так, в поэме о восстании Наливайко 1594 г. речь идет о Чигирине (возле него расположено Субботово – вотчина Хмельницких), где и происходит расправа со старостой ляхом (как известно, «чигиринский подстароста Чаплицкий» был их врагом), а герой в черновике один раз прямо назван Хмельницким. И хотя, по утверждению С.А. Фомичева, «имя Хмельницкого... здесь легло под перо Рыльева по ошибке», все же исследователь вынужден признать, что «не случайно Наливайко в поэме Рыльева наделяется отчасти чертами биографии Хмельницкого...» [Рылеев, 1987, с. 97, 370].

Но если основой поэмы стали мотивы народных дум о Хмельницком, то образ народного вождя (Хмельницкого, Наливайко, Палея) формировался в творческом сознании поэта под влиянием поэмы Байрона «Мазепа». Возможно, потому, в отличие от народного избавителя, заступника, мудрого полководца, каким предстает гетман в думах, Рылеев изображает героя трагически одиноким, отчужденным от общества из-за своей высокой миссии. Его «страсть к свободе» оказывается сильнее животного инстинкта самосохранения, присущего большинству: он знал, что обречен, но понимал свою смерть как условие свободы Отечества, как неизбежную жертву на ее алтарь. Недаром будущие декабристы восприняли это как пророчество, грозное предсказание судьбы [см.: Рылеев, 1971, с. 31].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бантыш-Каменский, Д.Н. История Малой России: в 3 ч., 2-е изд., перераб. и доп. / Д.Н. Бантыш-Каменский. – Москва: Типография Селивановского, 1830. Т. 1. – 470 с., Т. 2. – 296 с. Т.3. – 375 с.

Виноградов, В.В. Поэтика русской литературы / В.В. Виноградов // Виноградов В.В. Избранные труды. – Москва: Наука, 1976. – 508 с.

Воропаев, В.А. Комментарии / В.А. Воропаев, И.А. Виноградов // Гоголь, Н.В. Собр. соч.: в 9 т. / Сост. и коммент. В.А. Воропаева, И.А. Виноградова. – Москва: Русская книга, 1994.

<Гоголь, 1835> – Гоголь, Н.В. Арабески. Разные сочинения Н.Гоголя: в 2 ч. / Н.В. Гоголь. – Санкт-Петербург: В тип. вдовы Плюшар с сыном, 1835. – Ч. I. – 287 с.; Ч. II. – 276 с.

<Гоголь, ИРЛИ> – Разные бумаги Гоголя, спасенные М.П. Погодиным от сожжения (из собрания П.Я. Дашкова) // Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Фонд 652. Описание 1. Ед. хр. 1. Л. 53.

<Гоголь, ИРЛИк> – Главы исторической повести (копия П. Кулиша) // Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Фонд 652. Описание 2. Ед. хр. 71.

<Гоголь, РГБ> – Записная книга Гоголя, из числа принадлежавших Аксакову // НИОР РГБ. Фонд 74. Картон 6. Ед. хр. 1.

<Гоголь, РГБи> Рукопись исторического произведения Гоголя // НИОР РГБ. Фонд 99. Картон 25. Ед. хр. 37.

<Гоголь, 1855-1856> – Сочинения Гоголя: в 6 т. / Н.В. Гоголь; изд. 2-е. – Москва: Н. Трушковский, 1855-1856.

<Гоголь, 1889-1896> – Сочинения Н.В. Гоголя: в 7 т. / Н.В. Гоголь; 10-е изд.; под ред. Николая Тихонравова. – Москва; Санкт-Петербург, 1889-1896.

<Гоголь, 1937-1952> – Гоголь, Н.В. Полн. собр. соч.: Т. I-XIV. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

<Гоголь, 2009> – Гоголь, Н.В. Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. / Н.В. Гоголь. – Т. 3. – Москва: Наука, 2009. – 1016 с.

Греч, Н.И. Письмо А.В. Никитенко, 20 февраля 1834 г. / Н.И. Греч // Литературное наследство / АН СССР, Отд. лит. и языка. – Т. 58. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – Москва: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 545-546.

Денисов, В.Д. О становлении Гоголя-писателя / В.Д. Денисов // Культура и текст. – 2014. – № 1 (16). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ct.uni-altai.ru/kultura-i-tekst-2014-116>.

Золотусский, И.П. Гоголь / И.П. Золотусский. – Москва: Молодая гвардия, 1979. – 511 с. – (Серия «ЖЗЛ»).

Казарин, В.П. Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: Вопросы творческой истории / В.П. Казарин. – Киев; Одесса: «Вища школа», 1986. – 126 с.

Конисский, Г. История Русов, или Малой России / Г. Конисский // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. – М., 1846. – № 1-4. – Отд. 2.

<Кулиш, 1856> – Николай М. Записки о жизни Н.В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: в 2 т. / П.А. Кулиш. – Т. 1. – Санкт-Петербург: Тип. А. Якобсона, 1856. – 340 с.

<Летопись Малой России> – Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год, с изъяснением настоящего образца тамошнего правления и с приобщением списка преждебывших Гетманов, Генеральных Старшин, Полковников и Иерархов; також землеописания с показанием городов, рек, монастырей, церквей, числа людей, известий о почтах и других нужных сведений, издана Васильем

Григорьевичем Рубаном / В.Г. Рубан. – Санкт-Петербург: Тип. Х.Ф. Клена, 1777. – 118 с.

Льюис, М.Г. Монах, или Пагубные следствия пылких страстей. Сочинение славной г. Радклиф [так! – *В.Д.*]: в 4 ч. / М.Г. Льюис; пер. с фр. – Санкт-Петербург: При Академии наук, 1802-1803.

<**Максимович, 1834**> – Украинские народные песни, изд. Михаилом Максимовичем / М.А. Максимович. – Ч. 1. – Москва: Унив. типография, 1834. – 180 с.

<**Макферсон, 1818**> – Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: гальские стихотворения: ч. 1-2 / Дж. Макферсон; пер. с фр. Е. Костровым; 2-е изд. – Санкт-Петербург: Типография Ивана Глазунова, 1818. Ч. 1. – С. XLIII.

Манн, Ю.В. «Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н.В. Гоголя. 1809-1835 гг. / Ю.В. Манн. – Москва: МИРОС, 1994. – 472 с.

<**Маркевич, 1831**> – Украинские мелодии. Соч. Ник. Маркевича / Николай Маркевич. – Москва: Типография Августа Семена при Имп. Мед.-хирургич. академии, 1831. – 155 с.

Паламарчук, П. Примечания / П. Паламарчук // Гоголь Н.В. Арабески. – Москва: Молодая гвардия, 1990. – С. 393–430.

Рылеев, К.Ф. Полн. собр. стихотворений / К.Ф. Рылеев; изд. 2-е. – Ленинград: Советский писатель, 1971. – 480 с. – (серия «Библиотека поэта»).

Рылеев, К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев; сост., вступ. ст., ком. С.А. Фомичева. – Ленинград: Художественная литература, 1987. – 414 с.

Чарушникова, М.В. Фрагмент незавершенного романа Н.В. Гоголя «Гетьман» / М.В. Чарушникова // Записки Отдела рукописей ГБЛ. – Вып. 37. – Москва: Книга, 1976. – С. 185-208.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

С.Ф. Дмитренко¹

*Литературный институт имени А.М. Горького
(Москва)*

ИСТОРИЯ ЗАКРЫТИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» И СКАЗКИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА²

В статье на основании документов рассматривается история закрытия журнала «Отечественные Записки» в 1884 году и особенности творческой деятельности М.Е. Салтыкова-Щедрина после закрытия журнала. Особое внимание уделяется феномену его сказок.

Ключевые слова: Салтыков Щедрин, «Отечественные Записки», цензура, публицистика, сказка, журнал, психология творчества

S.F. Dmitrenko

*Maxim Gorky Literature Institute
(Moscow)*

THE STORY OF CLOSING DOWN «OTECHESTVENNYE ZAPISKI («PATRIOTIC NOTES»), AND THE TALES BY M.E. SALTUKOV-SHCHEDRIN

Documentary-based, the article examines the circumstances of closing down the journal «Otechestvennye Zapiski» in 1884, and dwells on the character of M.E. Saltykov-Shchedrin's prosaic work after the magazine shutdown. Special attention is paid to the phenomenon of the writer's fairy tales.

¹ Сергей Федорович Дмитренко, кандидат филологических наук, доцент кафедры новейшей русской литературы Литературного института имени А.М. Горького, член Союза журналистов Москвы; literat2015@yandex.ru

² Исследование выполнено в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом проекта «М.Е. Салтыков-Щедрин и его современники» (№ 15-04-00389).

Key words: Saltykov Shchedrin, «Otechestvennye Zapiski», censorship, journalism, fairy tale, journal, psychology of creativity.

Закрытие «Отечественных записок» в щедриноведении связывается не столько с подрывной политической деятельностью ряда его сотрудников, сколько с публикацией (или попытками публикаций) некоторых произведений самого Салтыкова, прежде всего, сказок.

В своем анализе мы должны последовательно воздерживаться от модернизации исторических обстоятельств и коллизий конкретного времени, самой психологии живших тогда людей. Признано, что российская цензурная реформа 1865 года «явилась значительным шагом вперед в истории цензурного законодательства, положив начало переходу к закону о печати» [Цензура в России, 2003, с. 19]. Действия цензуры, как и других государственных учреждений, в целом были направлены на обеспечение исполнения действующего законодательства. В частности, установленная система предостережений была нацелена отнюдь не только против так называемых прогрессивных изданий. Е.М. Феоктистов вспоминает, что в марте 1887 года Александр III приказал Министерству внутренних дел вынести газете «Московские ведомости» *первое предостережение* за вмешательство М.Н. Каткова в вопросы внешней политики и только из тактических соображений отменил его, донеся до Каткова все свои претензии [см. подробнее: Феоктистов, 1991, с. 244-247].

1

Как известно, в соответствии с тогдашним российским законодательством, первое предостережение «Отечественным запискам» было объявлено 19 июля 1872 года (10, 757-758)¹ и снято в рамках амнистии по случаю взятия Плевны. И только 14 февраля 1879 года предостережение вновь было вынесено за материалы в январском

¹ См. подробнее: Салтыков-Щедрин, 1965–1977, 10, с. 757-758.

(1879) номере: «неприятное и даже более враждебное отношение редакции ко всем без исключения правительственным мероприятиям и ко всем органам правительственной власти высказывается так рельефно, что статьи эти не могут и не должны быть оставлены без серьезного внимания со стороны цензурного ведомства» [Боград, 1971, с. 481]. Фактически второе, оно вновь стало первым.

Следующее предостережение относится к 22 января 1883 года и конкретно связано с помещением в № 1 за 1883 год статьи Н.Я. Николадзе «Луи Блан и Гамбетта», «содержащей восхваление одного из французских коммунаров – Рошфора» и, главное, «с полной ясностью» выражающей «крайне предосудительное направление журнала». Кроме того, в докладе Д.А. Толстого содержится отрицательная характеристика опубликованных в этом же номере глав «Современной идиллии»: «переходящая всякое приличие карикатура», «нахальное издевательство, неистовое глумление над правительством в деле преследования политических преступников». Вместе с тем необходимо отметить следующие пункты доклада: 1) «предосудительное во многих отношениях направление журнала выражается вообще не только в статьях г. Щедрина, но и во многих других»; 2) «Отечественные записки» «обязаны своим успехом статьям г. Салтыкова. За исключением их, журнал не представляет ничего выдающегося»¹.

Эти и другие акценты доклада, не приводимые здесь лишь по недостатку места, свидетельствуют об относительной объективности членов Совета Главного управления по делам печати и, во всяком случае, об их понимании своеобразия художественного творчества и его отличия от публицистики или непосредственно пропагандистской продукции, управляемой злобой дня и политической конъюнктурой. Щедриноведы предполагают, что, хотя и в 1872 году при вынесении «Отечественным запискам» первого предостережения причиной его называлась публикация статьи Н. Демерта «Наши отечественные дела»

¹ См. подробнее: Цензурные материалы о Щедрине, 1934, с. 148-155. Отметим, что именно публикация документов представляет реальную, а не интерпретированную динамику взаимоотношений редакции «Отечественных записок» с Главным управлением по делам печати.

(1872. № 7), главное недовольство вызвала помещенная в № 6 глава VI «Дневника провинциала в Петербурге» Щедрина¹.

Даже С.А. Макашин, работавший в обстоятельствах советского литературоведения, тщательно описывавший и каталогизировавший все цензурные стеснения в отношении Салтыкова, как честный ученый обнародовал следующий вывод: «...нельзя признать соответствующим действительности бытовавшее долго представление (отчасти оно сохранилось и по сей день), что литературное наследие автора “Истории одного города” дошло до нас, по вине цензуры, в очень неполном и сильно искаженном виде. Все главные его произведения, за исключением четырех сказок (“Медведь на воеводстве”, “Орел-меценат”, “Богатырь” и “Вяленая вобла”) были напечатаны» [Макашин, 1989, с. 289].

Собственно, и прекращение издания «Отечественных записок» (оно произошло без вынесения третьего предостережения) было вызвано, главным образом, внелитературными причинами. Соредатор Салтыкова по журналу Н.К. Михайловский, с 1870-х годов имевший, как известно, связи с «Народной волей», с 1879 года состоял под негласным надзором полиции. С 1 января 1883 года вместе с Н.В. Шелгуновым, ответственным редактором социал-радикалистского журнала «Дело», он был выслан из Петербурга и жил в Выборге, а с мая 1884 года – на станции Любань Новгородской губернии. А 3 января 1884 года был арестован другой ведущий сотрудник «Отечественных записок» С.Н. Кривенко, активно и многообразно сотрудничавший с «Народной волей». Помимо прочих деяний, вероятно, на совести именно Кривенко была передача в нелегальную печать сказок и других произведений Салтыкова, попавших под цензурные стеснения, – факт, вызывавший негодование писателя, стремившегося к качественному изданию своих сочинений². Вместе с тем названный выше публицист Н.Я. Николадзе (1843–1928), который со студенческих лет участвовал в разного рода радикалистских акциях и вследствие этого имел богатую историю разнообразных острых

¹ См., в частности: Салтыков-Щедрин, 1965–1977, 10, с. 756-758.

² См. о фактах жизни Кривенко в статье А.В. Чанцева: Русские писатели, 1994, с. 153-155.

конфликтов с властями, заменил Н.К. Михайловского, а затем и С.Н. Кривенко на их редакционных должностях, что косвенно свидетельствует о нежелании чиновников Главного управления по делам печати доводить дело с «Отечественными записками» до их прекращения.

С.А. Макашин посвятил этому эпизоду русской литературно-общественной жизни отдельную работу и пришел к заключению, что в решении закрыть журнал возобладали именно политические мотивы, и «акция эта была по существу полицейской». Граф Д.А. Толстой, президент Императорской Академии наук с 25 апреля 1882 года, был назначен 30 мая министром внутренних дел и стал шефом жандармов. Он двумя годами ранее Салтыкова окончил тогда еще Царскосельский лицей, был не чужд исторических изысканий и состоял с Салтыковым в товарищеских отношениях. По воспоминаниям Е.М. Феоктистова, бывшего с 1 января 1883 года начальником Главного управления по делам печати, уже в пору, когда за рубежом в радикалистских изданиях печатались «произведения Щедрина (Салтыкова)», зачастую даже без согласия автора, «Толстой колебался» инициировать процесс закрытия «Отечественных записок» главным образом «из опасения возбудить неудовольствие в обществе» [Феоктистов, 1991, с. 233]. Это подтверждается свидетельством самого Салтыкова в письме к А.А. Краевскому от 9 марта 1884 года: «Я вчера был у Феоктистова <...>; он мне обещал, что не будет принято против «Отечественных» зап<исок>» мер без предварительного соглашения со мной. Это очень мало, но все-таки, что-нибудь. Он же мне сказал, что и гр. Толстой не желает предпринимать что-либо лично против меня, по старому товариществу» [Салтыков-Щедрин, 19-2, с. 290].

И хотя журнал все же был закрыт, в литературно-культурном обществе это действие в целом не нашло понимания, не говоря о поддержке. Так, К.Д. Кавелин писал Д.А. Милютину 21 апреля 1884 г.: «Правительство тут, как и во множестве других случаев, оказалось ниже своего положения и действовало как партия, а не как орган государственной власти, – точно будто бы четыре министра были газетные или журнальные борзописцы, сотрудники редакции литературного органа противной партии. Правительство таким способом действий только все более и более теряет доверие, уважение и ореол, которым должно быть окружено в интересах государственной власти» [Кавелин, 1909, с. 34].

Кроме того, при характеристике общей психологической атмосферы, в которой шло издание «Отечественных записок» в 1880-е годы, следует, наконец, уделить должное внимание и факту появления в литературном пространстве Санкт-Петербурга журнала «Русское богатство», переформатированного издателими из безуспешного торгово-экономического и сельскохозяйственного издания в журнал не столько литературной, сколько социал-радикалистской нацеленности. Феномен тогдашнего «Русского богатства», тяжело становившегося на ноги в начале 1880-х годов, в том, что при ближайшем участии С.Н. Кривенко, а также ряда постоянных авторов «Отечественных записок» предпринималась попытка создать, по сути, конкурента щедринскому детищу, перетянуть к себе тех читателей, которым общественно-политическая позиция «Отечественных записок» представлялась недостаточно радикальной. Например, Н.Н. Златовратский, который связывал начало своей литературной деятельности именно с «Отечественными записками» (1874 год) и еще в 1876 году выпустил в Петербурге под псевдонимом «Маленький Щедрин» сборник «Сатирические рассказы золотого человека», печатался в «Отечественных записках» практически до их закрытия. Красноречиво на этом фоне его признание Салтыкову-Щедрину в письме от 4 апреля 1882 года: «Вы сами знаете, что даже то небольшое, что я успел еще сделать лично, было исполнено только при неослабном участии ко мне редакции “Отеч. Запис.”. Без этого стороннего участия моя деятельность была бы немыслима...» [Письма писателей к Салтыкову, 1934, с. 366]. Однако одновременно с этим некоторое время (1880–1881) Златовратский пребывал редактором «Русского богатства».

Такое положение вещей вызывало раздражение Салтыкова, который и сам нигде, кроме «Отечественных записок» не печатался, и, по свидетельствам А.М. Скабичевского, требовал от авторов своего журнала также соблюдать очевидные этические правила, во всяком случае, не подписывать под публикациями в других изданиях свои настоящие имена. «Каждый раз он выходил из себя и ворчал, когда видел мою фамилию в другом органе. Так взбеленился он, увидев мои статьи в “Русском Богатстве” <...>. После этого я помещал свои статьи в “Р.Б.”, подписывая их не иначе, как непроницаемыми псевдонимами» [Скабичевский, 2001, с. 375, 381].

Характерно, что после закрытия «Отечественных Записок» сам Салтыков, как видно, с полной определенностью оценил вышеописанный «раскол в радикалах». Несмотря на то, что в 1883 году издателем и фактическим редактором «Русского богатства» стал Л.Е. Оболенский, писавший с конца 1879 годов о творчестве Салтыкова, а также о произведениях многих авторов «Отечественных записок», оставшийся без постоянного места печатания писатель сделал красноречивый выбор. Салтыков предлагал свои новые сочинения журналу «Вестник Европы» и газете «Русские ведомости» (кое-что было напечатано в «Книжках “Недели”»). «Русское богатство» было оставлено им без внимания.

2

Хорошо известно, что закрытие журнала «Отечественные записки», вызвало в литературных кругах и в обществе формирование слухов о том, что это не вполне демократическое, но по своим итогам все же вполне здоровое решение роковым образом сказалось на здоровье и творчестве Салтыкова.

Однако если объективно оценивать как эпистолярные откровения писателя, так и наличествующие художественные результаты его деятельности в 1884–1889 годах, можно совершенно ясно увидеть, что освобожденный от бремени органа, превращенного его неверными соратниками из литературного издания в прибежище разного рода подрывных сил, Салтыков обрел полную творческую свободу. За последние пять лет своей жизни он создал несколько крупномасштабных, подлинно художественных произведений и начал подготовку к изданию своего первого собрания сочинений. Физически продолжая страдать от многих болезней, которые он приобрел еще со времен молодости, писатель тем не менее сохранял огромную жизненную энергию.

В отличие от своих сотрудников по «Отечественным запискам» Н.К. Михайловского и А.М. Скабичевского, Салтыков, оказавшись в состоянии свободного выбора после закрытия их постоянной трибуны, мгновенно обрел силы для перехода в новое творческое качество. Его же напарники, оставаясь главными фигурантами критического цеха 1880-х годов, не только не смогли

освободиться от своих узко партийных пристрастий, но, пожалуй, даже укрепили их. Продукция и того и другого представляет сегодня интерес лишь как реликт эпохи.

А Салтыков еще в 1884 году готовит и выпускает книжное издание «Недоконченных бесед («Между делом»»)» (октябрь) и «Пошехонских рассказов» (ноябрь), в которых блистательно развиты повествовательные традиции гоголевского юмора времен «Вечеров». В том же ноябре начинается публикация цикла «Пестрые письма», отдельное издание которого вышло в ноябре 1886 года, а до этого, в сентябре – первое издание сборника сказок «23 сказки» (как известно, большинство сказок было написано и издано также после «Отечественных записок»).

Завершив в августе 1886 года «Пестрые письма», Салтыков тут же начинает цикл «Мелочи жизни», который давно признан «одним из самых значительных, самых глубоких» произведений писателя, представляющим собой «новый особый сплав острой публицистической “манеры”, характерной для таких высших достижений его творчества как “Письма к тетеньке” или “За рубежом”, с глубиной и совершенством социально-психологического реализма “Господ Головлевых”, многих рассказов “Сборника” и др.» [примечания А.С. Бушмина. К.И. Тюнькина; см.: Салтыков-Щедрин, 1965–1977, с. 329]. А ровно через год, 27 августа 1887 года, после журнально-газетных публикаций глав, вышло книжное издание «Пестрых писем».

И вновь без перерыва – болезни каким-то чудом в который раз отступают – Салтыков начинает неотрывно работать над «Пошехонской стариной» и заканчивает эту самую объемную свою книгу в январе 1889 года. И хотя проблема художественной завершенности финала «Пошехонской старины» остается в поле внимания щедринистов, сама по себе творческая продуктивность Салтыкова в 1884-1888 годах и вплоть до рокового апреля 1889 года не вызывает никаких сомнений.

Хорошо известно свидетельство А.Н. Плещеева, который писал А.П. Чехову 13 сентября 1888 года о работоспособности Салтыкова: «Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей» (цит. по: 17, 515 с отсылкой: «Записки Отд.

рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. VI. М., 1940, с. 73). Красноречив контекст этого высказывания. Будучи двумя месяцами старше Салтыкова, Плещеев с 1872 года был членом редакции «Отечественных записок» (секретарь, затем заведующий стихотворным отделом) и прекрасно знал трудовую неутомимость Салтыкова, и ему было с чем сравнивать.

Но российской критике и публицистике так называемого демократического направления в творениях, да и в самой биографии Салтыкова были нужны злободневность, публицистичность, социальный критицизм. Все, что бы ни выходило из-под пера писателя, толковалось, перелицовывалось именно по указанному, предельно суженному лекалу. Так, совершенно очевидно, что именно в 1880-х годах, после психологического романа «Господа Головлевы», после самобытных по своей жанровой организации книг «За рубежом» и «Современная идиллия» Салтыков прочно утвердился в лицевом строе русской литературы. Особого обсуждения требует цикл щедринских сказок, также сформировавшийся после 1884 года.

Сказки традиционно относят к вершинам творчества Салтыкова, и действительно, среди них есть творчески сильные, самобытные вещи. Однако в целом цикл представляет собой сложный конгломерат, который трудно признать художественно целостным. И причина этого не только в том, что цикл складывался с перерывами, на протяжении двух десятилетий, ибо после создания в 1867–1869 гг. трех шедевров («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик») Салтыков оставил сказочную форму.

Это произошло, вероятно, потому, что тогда писатель работал над «Историей одного города» (основная часть опубликована в «Отечественных записках» в 1870 году, следом вышло отдельное издание), которая связана со сказками своеобразными жанровыми чертами. В частности, во всех четырех произведениях действуют персонажи из вполне реальной административной номенклатуры российского общества. При этом и тех и других постоянно подстерегают некие экстраординарные обстоятельства, весьма далекие от четких росписей «Табели о рангах». То, что происходит с персонажами трех сказок, вполне укладывается в сюжетную логику «Истории одного города», а мир, изображаемый в «Истории...», – это,

конечно, мир во многих своих чертах сказочный. Причем черты этого невероятного и вместе с тем художественно реального, зримого мира очевидны и в других произведениях Салтыкова той поры, которые остаются ключевыми для его творчества, – в циклах «Помпадурсы и помпадурши» (отдельное издание – 1873), «Господа ташкентцы» (начало публикации в «Отечественных записках» – осень 1869; отдельное издание – 1873), романе «Дневник провинциала в Петербурге» (1872).

Салтыкову принадлежит честь введения в большую литературу русской глубинки, русской провинции – его книга «Губернские очерки» (1856–1857) принесла первую литературную известность и ему самому. Но в «Губернских очерках» Салтыков предстает в основном как бытописатель, мастер социально-психологической прозы. Хотя, конечно, и здесь уже обозначаются приметы грядущего времени, «когда самый горячечный бред не только сравняется с действительностью, но даже будет оттеснен последнею далеко на задний план» («Господа ташкентцы»; 10, с. 212). Завершив в 1868 году свою насыщенную, можно сказать, остросюжетную административную карьеру, которая протекала именно в провинциальных губерниях России, Салтыков получил возможность посмотреть на обретенный административный опыт со стороны. И на этом основании возникла щедринская Россия, возник мир в вышеназванных произведениях. Естественно, в таких обстоятельствах многие предполагаемые сюжеты сказок, сходные с теми, которые были воплощены в их начальной триаде, оказались попросту растворившимися в сюжетных конструкциях новых произведений, поглощенными ими. Попросту говоря: в ту пору в других сказках у Салтыкова не было художественной необходимости, и он ушел от них почти на полтора десятилетия.

Только в книге «За рубежом» (1881), а затем в «Современной идиллии» (1877–1883) появились вставные сказки, а позднее и остальные, составившие основной корпус сказочного цикла, композиционно формировавшегося, но из-за кончины недоформированного Салтыковым. В собрании сочинений Салтыкова и в академическом издании сказок В.Н. Баскаков и А.С. Бушмин предлагают таблицу появления сказок в русской легальной,

нелегальной и эмигрантской печати [Салтыков-Щедрин, 16-1, с. 443-445)]. Эта таблица выразительно показывает, что интерес Салтыкова к жанровой форме сказки как автономной, без встроенности, например, в большое произведение, после многолетнего перерыва возникает лишь в начале 1880-х годов и дает творческие результаты лишь после закрытия «Отечественных записок». Эта же таблица также позволяет увидеть жанровую условность многих щедринских «сказок», созданных в 1880-е годы, и акцентировать тот факт, что в художественном отношении большинство поздних сказок заметно уступает первым «сказкам».

Причины этого выводятся, очевидно, из того обстоятельства, что, Салтыков, сохранивший тягу к публицистически открытому высказыванию, после закрытия «Отечественных записок» не имел своей постоянной трибуны. Тем не менее, он к этому стремился и, если практически все свои крупные произведения он теперь отдавал в журнал «Вестник Европы», то большая часть его сказок была напечатана в московской газете «Русские ведомости».

Дискуссионность в определении жанровой формы щедринских сказок была очевидна уже в период их публикации. В журнале заседания Санкт-Петербургского цензурного комитета 15 апреля 1887 года цензор, профессор-историк Казанского университета В.М. Ведров, в частности, отмечает (протокол подписан известным цензором Н.Е. Лебедевым): «То, что г. Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему названию; его сказки – та же сатира, и сатира едкая, тенденциозная, более или менее направленная против общественного и политического нашего устройства» [Цензурные материалы о Щедрине, с. 157-159]. Очевидно, что вынужденный и не всегда предсказуемый поиск места публикации побуждал Салтыкова искать новые способы высказывания на злобу дня с выразительными знаками, свойственными и другим его публицистическим сочинениям. Такие способы Салтыков нашел, в частности, на пути возвращения к уже своеобразно представленной им жанровой форме «сказки», притом, что объединение стилистически разнородных произведений этим знаком с вековой традицией зачастую было условным.

Но и в новых условиях общественной жизни приверженность к злободневной словесности у Салтыкова сохранялась. Можно предположить, что почувствовав теперь композиционную

громоздкость привычных ему очерковых циклов-обзоров, предугадывая возможные цензурные затруднения (правда, здесь Салтыков часто перестраховывался), он вновь обратился к сказкам. Как известно, первые три сказки возникли по внешнему поводу: они предназначались для цикла под названием «Для детей», по сути, для молодого поколения, вступающего в жизнь в эпоху реформ императора Александра II. Новые сказки по Щедрину становились своеобразной формой актуального высказывания, жанром публицистическим.

То, что щедринская публицистика переоблачена в сказочные одежды, незамедлительно было замечено социал-радикалами, которые, пользуясь подчас самыми разными путями, стали обнародовать за рубежом новые сказки писателя, еще не публиковавшиеся в «Отечественных записках». После того как 22 января 1883 г., в частности, за публикацию в составе XXIV главы «Современной идиллии» аллегории «Злополучный пискарь, или Драма в Кашинском окружном суде» цензура объявила редакторам «Отечественных записок» второе предостережение, которое вело в итоге к закрытию издания, Салтыков изымает из уже готового к печати номера журнала три свои сказки: «Самоотверженный заяц», «Бедный волк» и «Премудрый пискарь». Но в сентябре того же года эти сказки появляются на страницах женевского ежесемесечника «Общее дело» (№ 55), издаваемом кружком эмигрантов из России. Они выходят под общим редакционным (не авторским) заглавием «Сказки для детей изрядного возраста». Тогда же под этим заглавием названные сказки нелегально распространяются по России, в гектографированных и литографированных изданиях.

Но появляются они, без каких-либо претензий со стороны цензуры, и в январском номере (1884) «Отечественных записок». Зато из февральского номера Салтыков по требованию цензуры изымает сказки «Добродетели и Пороки», «Карась-идеалист», «Обманщик-газетчик и легковёрный читатель», «Медведь на воеводстве» («Топтыгин 1-й») и «Вяленая вобла». А 8 марта происходит объяснение Салтыкова с начальником Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистовым, после которого становится очевидным, что судьба журнала предрешена.

Но и после закрытия «Отечественных записок» сочинение сказок и, что важно, их публикация продолжились. Так, в начале ноября 1884 года в Петербурге выходит юбилейный Сборник, изданный Комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым «XXV лет. 1859–1884», где печатаются сказки «Добродетели и Пороки», «Карась-идеалист» и «Обманщик-газетчик и легковёрный читатель» под общим заглавием «Сказки», что свидетельствует о конъюнктурном характере цензурных историй с публикациями сказок в «Отечественных записках». В то же время очевидно, что именно цензурные затруднения с обнародованием отдельных сказок привлекли к ним внимание социал-радикальных кругов, активно взявшихся за их распространение не с художественными или просветительскими, а именно политико-пропагандистскими целями. Особый интерес у соответствующих деятелей вызвали сказки «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Бедный волк», «Добродетели и Пороки», «Медведь на воеводстве», «Обманщик-газетчик и легковёрный читатель», «Вяленая вобла» и «Орел-меценат», причем все эти нелегальные или зарубежные публикации имели сугубо антигосударственное предназначение, будучи к тому же весьма неряшливо подготовленными с издательской точки зрения, так как печатались по непроверенным, зачастую случайным спискам или по неправомерным корректурным гранкам «Отечественных записок».

Если же говорить о российских публикациях, то в целом эти разностильные тексты, печатавшиеся в 1880-е годы в разных изданиях, но преимущественно, повторим, в одном месте – в газете «Русские ведомости», и всегда в том или ином виде маркируемые как *сказки*, стали для Салтыкова мобильной формой для удовлетворения своих публицистических инстинктов. Но вскоре он потерял к ним интерес и занимался только почти механической работой подготовки уже написанного для сборника 1886 года и для собрания сочинений.

Значительно важнее для понимания творческого феномена Салтыкова его другие художественные произведения, написанные после закрытия «Отечественных записок».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Боград, В. Э. Журнал «Отечественные записки» (1868–1884): Указатель содержания В.Э. Боград. – Москва: Книга, 1971. – 734 с.

[**Кавелин К.Д.**] Из писем К.Д. Кавелина к графу Д.А. Милютину. 1882–1884. Сообщил Д.А. Корсаков // Вестник Европы. – 1909. – № 1. – С. 1-48.

Макашин, С. А. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889: Биография / С.А. Макашин. – Москва: Художественная литература, 1989. – 527 с.

Письма писателей к Салтыкову: Предисловие, публикация и примечания Н.Яковлева // Литературное наследство. Т. 13–14: Щедрин. Кн. II. – Москва: Журнально-газетное объединение, 1934. – С. 345-442.

Русские писатели. Биобиблиографический словарь. 1800–1917. Т. 3. – Москва: Большая российская энциклопедия; НВП «Фианит», 1994. – 582 с.

Салтыков-Щедрин, М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. – М.: Художественная литература, 1965–1977.

Скабичевский, А. М. Литературные воспоминания / А.М. Скабичевский. – Москва: Аграф, 2001. – 432 с.

Феоктистов, Е. За кулисами политики и литературы. 1848–1896 / Е. Феоктистов. – Москва: Новости, 1991. – 460 с.

Цензура в России в конце XIX–начале XX века: Сборник воспоминаний / Сост. Н. Г. Патрушева. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003. – 366 с.

Цензурные материалы о Щедрине: Публикация Н. Выводцева, В. Евгеньева-Максимова, И. Ямпольского // Литературное наследство. Т. 13–14: Щедрин. Кн. II. – Москва: Журнально-газетное объединение, 1934. – С. 97-170.

В ПОИСКАХ ЖАНРА

А.В. Денисова¹

*Санкт-Петербургский университет МВД
Российской Федерации*

ФУНКЦИИ ХРОНОТОПА В «ЗИМНИХ ЗАМЕТКАХ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Статья посвящена особенностям функции хронотопа в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского. Основное внимание уделено хронотопам дороги и города. На основе их анализа доказывается связь пространственно-временной организации произведения с его жанровыми особенностями. Установлено, что изменение хронотопа приводит к соединению разных жанровых традиций в произведении Ф.М. Достоевского.

Ключевые слова: «Зимние заметки о летних впечатлениях», хронотоп, жанровые особенности, жанровые традиции.

A. V. Denisova

*St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation*

THE FUNCTIONS OF CHRONOTOP IN «WINTER NOTES ON SUMMER IMPRESSIONS» BY FEDOR M. DOSTOEVSKY

The article is devoted to the peculiarities of chronotop function in the «Winter Notes on Summer Impressions» by Fedor Dostoevsky. The Emphasis is placed on the chronotope of the road and the city. Based on their analysis, the connection of spatio-temporal structure in the journalistic essay with its genre distinctions is stated. It was found that switches from one chronotop to the other lead to a fusion of different genre traditions in the text by F. Dostoevsky.

¹ Алина Валентиновна Денисова, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и социологии Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации

Key words: «Winter Notes on Summer Impressions», chronotope, genre distinctions, genre tradition.

«Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевский написал зимой 1862/1863 г. и опубликовал в журнале «Время» – № 2 и 3 за 1863 г. с подзаголовком «Фельетон за все лето» (как известно, он уехал из Петербурга в Берлин в начале июня, а вернулся около 14 сентября 1862 г.). С формальной, внешней стороны – это цикл из восьми путевых очерков, но уже в названии автор дал несколько жанровых определений. Первое – «заметки» – декларировало установку на фрагментарность, субъективность, незаконченность; второе – «впечатления» – вызывало ассоциации, связанные с сентиментальной традицией; подзаголовок, данный в журнальной редакции, соотносил произведение с фельетоном. В силу таких жанровых «наслоений» в литературоведении доминировало то одно, то другое жанровое определение этого произведения. Так, многие литературоведы в начале и середине XX в. не считали этот цикл художественным и относили его то к жанру путешествий, то к чистой публицистике. А.С. Долинин впервые отметил сходство поэтики и проблематики «Зимних заметок о летних впечатлениях» с «Письмами из Франции и Италии» и циклом «Концы и начала» А.И. Герцена, утверждая, что влияние последнего на Достоевского в эти годы было велико [Долинин, 1989].

В начале 1990-х годов исследователи творчества Достоевского увидели в «Зимних заметках о летних впечатлениях» новый тип синтеза художественного и философского материала – в частности, сопряжение исторических и метафизических планов повествования. Так, Е.Г. Новикова справедливо отметила проявление софийности «Зимних заметок...» в утверждении живого христианства, преодолевающего «мертвую букву» официального обряда. Основанием послужило то, что, наряду с социально-историческим наблюдениями автора, в этом произведении присутствует миссионерская и христианско-просветительская интенция [Новикова, 1999]. Как отмечено в Словаре-справочнике «Достоевский: Сочинения, письма, документы», в «Зимних заметках...» можно видеть «важный этап в развитии философии нероманной прозы

Достоевского <...> Именно философские основания авторской активности в “Зимних заметках о летних впечатлениях” возводят почти любой эмпирический факт в ранг культурного знака, мыслительной универсалии» [Акелькина, Щенников, 2008, с. 209-211].

Жанровая многозначность «Зимних заметок...» обуславливает особенности их пространственно-временной организации, поскольку взаимодействие разных жанров, их трансформация обязательно влияет на видоизменение хронотопа. Вот как об этом писал М.М. Бахтин: «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является время» [Бахтин, 1975, с. 235].

В своей статье «Поэтика хронотопа в “Зимних заметках» о летних впечатлениях» В.Н. Захаров пишет о том, что здесь великий писатель выразил свой идеал, «к которому должно стремиться, чтобы по-настоящему достичь свободы, равенства, братства» [Захаров, 2013, с. 180-201]. Идеал этот – в проповеди христианской любви к ближнему. «Достоевский проявил такую страстность в утверждении этого идеала, что можно дать лишь одно определение жанрового содержания его сочинения – поэма, вдохновенная поэма в прозе, поэма о России, прокламация писателем своих убеждений, его откровение в форме фельетонного обозрения “летних впечатлений”», – здесь он «создал оригинальный жанровый хронотоп, в котором реализована задача христианской проповеди. В фельетонной “болтовне” явлено Евангельское Слово, которое преобразует и творит мир, указывает исход русского пути» [Там же. С. 198; курсив автора статьи. – А.Д.]¹.

Если же отвлечься от сложности жанровых и хронотопных определений произведения, можно констатировать, что «Зимние заметки о летних впечатлениях» – это описание совершенного путешествия, предназначенное для читателя, чьи ожидания рассчитаны на уже освоенные литературой клише. В таком случае

¹ Везде, где это не оговаривается специально, все графические изменения в тексте принадлежат мне. – А.Д.

доминантным должен выступать хронотоп дороги. И отчасти Достоевский удовлетворяет эти читательские ожидания.

Хронотоп дороги подразумевал, прежде всего, физическое перемещение в пространстве, определение которого дал еще В.И. Даль: «Пространство – состояние или свойство всего, что простирается, распространяется, занимает место; само место это, простор, даль, ширь и глубь, место по трем измерениям своим» [Даль, 1996, с. 515]. Физическое пространство «соотносимо с понятиями “мир” и “бытие”, оно объективно, конкретно, реально, трехмерно в своей цельности, содержит материальные объекты, воспринимаемые при помощи зрения и других органов чувств; объекты заполняют пространство, конституируют и структурируют его» [Щукина, 2003, с. 8-9].

Такой хронотоп дороги, связанный с физическим пространством, к середине XIX в. был уже основательно освоен жанром путешествия, которое к тому времени претерпело значительные изменения. При этом наиболее продуктивным в русской литературе оказалось путешествие «гибридной формы» [Роболи, 1926, с. 48-49], которое сочетало этнографический, исторический материалы, сценки, рассуждения, лирические отступления. В «гибридном» путешествии в определенной степени уравнивали друг друга планы изображения и выражения.

Хронотоп дороги у Достоевского реализуется через одноименный мотив, который иногда декларируется подчеркнуто прямо, в заглавиях. Так II глава называется «В вагоне», IV глава – «И не лишняя для путешественников». Как правило, мотив дороги определяет содержание и переключку частей, становится стержневым для дальнейших рассуждений, организует их. Именно так построена I глава «Вместо предисловия»; в IV главе речь идет о спутниках автора по вагону. Нередко обращается внимание читателя на средство передвижения: «...двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина... проехал столько дорог за два с половиной месяца... поскорее улизнул в Дрезден... немедленно ускакал в Париж... теперь я

сизу в вагоне...» [Достоевский, 1973, с. 46-99]¹. Причем такой способ передвижения подчас дискредитируется: если вагон едет быстро, то его сопровождает туман или путешествующий устает от дороги; иногда надоедает празднично сидеть в вагоне, хочется деятельности, охватывает тоска, приходят «дурные мысли» о том, что будет, если столкнутся вагоны, и проч.

Однако привычный хронотоп дороги видоизменяется на глазах у читателя. Достоевский не только вводит «вагонные размышления» («Бог знает что иногда на безделье вздумается!»), «Парижские размышления», «Лондонские размышления» и т.п. – он создает иной хронотоп, вводя в него *ментальное пространство*. Оно, в отличие от физического, представляет собой некую модель мира, реальную или воображаемую², в которой есть взаимосвязь реального и мыслимого пространства. Р. Монтегю называет ментальную модель мира «возможным миром» [Montague, 1970, р. 68-94]. Ученые соотносят ментальное пространство с понятием «картина мира», отмечают, что оно субъективно, абстрактно, виртуально, содержит образные, понятийные, символические представления о пространственных характеристиках бытия; подчеркивают, что основной характеристикой этого типа пространства является антропоцентричность [Щукина, 2003, с. 9-10].

Основу картины мира составляет образ мира. Образ формируется восприятием, памятью, воображением и, по определению, всегда требует интерпретации и осмысления [Арутюнова, 1999]. Именно поэтому хронотоп дороги, включая ментальное пространство, перестает быть хронотопом пути и становится *хронотопом мира*. В него входят социальные и нравственно-этические категории, представляющие мир в его изменчивости, от- (раз-) граниченности, соположенности одновременных реалий, развернутости и динамике. И потому становятся возможными размышления Достоевского о Фонвизине в главе III, которая названа «И совершенно лишней». Ведь она

¹ При цитировании в тексте статьи указываются в круглых скобках: том – римской цифрой, страница – арабской.

² См. об этом: Gould, White, 1974, р. 312-317; Топоров, 1983, с. 227-284; Переверзев, 2000, с. 255-267.

действительно стала бы таковой в контексте ожидаемого читателем описания путешествия, но является органичной как проявление изменившегося хронотопа.

Хронотоп дороги/мира включает не только размышления автора – в нем органично оказываются представленными западноевропейские города, данные не только и не столько в географических подробностях, как того требовало традиционное путешествие. Лондон и Париж, главные столицы Западной Европы, наделены своей «физиономией», «привычками», тем особенным, что отличает их от других городов. Париж и Лондон почти одушевлены, представляя некий **тип, уклад** жизни. Можно говорить о том, что Достоевский создает не описание города, а **образ** города, вводя художественные зарисовки: описание «промышляющих женщин» в Лондоне (глава V «Ваал»), рассказ о посещении Пантеона в Париже (глава VII «Продолжение предыдущего»), глава VIII «Брибри и мабишь».

Таким образом, объектный уровень «Зимних заметок о летних впечатлениях» включает не только описание реалий конкретных западноевропейских городов – перед нами **образ** Западной Европы, где Достоевский видит страшное унижение (и уничтожение!) человеческой культуры, социальной мысли, искусства, да и всего человеческого общежития, в котором нет истинного братства, нет любящего начала в натуре человека: «...западная личность не привыкла к такому ходу дела <...> в природе французской, да и вообще западной, его (братства. – А.Д.) в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я...» (V, 78).

Образ становится средством познания действительности, а объектный уровень включается в область собственно художественного творчества. Логика пути незаметно, через многочисленные ассоциации, подменяется логикой развития авторских впечатлений, а затем – логикой развития авторской мысли. Впечатления становятся отправным пунктом для размышлений. Это не «чувствования» традиционного героя сентиментального путешествия, а именно размышления, которые включены в контекст общих проблем,

волновавших в то время не одного Достоевского и составивших идеологический стержень произведения. Таким образом, субъектный план не сводится только к эмоциональной реакции, – главным становится аналитическое восприятие увиденного, авторская оценка действительности, полемика, утверждение собственной позиции. Это план публицистический, являющийся для «Зимних заметок...» совершенно естественным – как органичен и естественен план художественный.

Ментальное пространство «Зимних заметок о летних впечатлениях» вбирает в себя и пространство города. Обнаруживается, что при его воплощении в произведении Достоевский, во-первых, вновь обманывает читательские ожидания, а во-вторых, опять видоизменяет константы хронотопа. Так, в самом начале произведения он перечисляет города, которые увидел во время своего путешествия: «Я был в Берлине, в Дрездене <...> в Париже, в Лондоне...» (V, 46). И читатель ожидает их описания во всем блеске, значимости, поскольку упоминаются города мирового значения, столицы. Подобное описание предполагало определенные клише: уличные зарисовки, особенности архитектуры, контекст истории того или иного города и т.п. Ничего этого у Достоевского нет. Традиционный хронотоп разрушается, но вместо него появляется новый...

«Ваал» – так обозначена глава о Лондоне. Ваал (евр. и араб. «Баал», букв. «владыка», «хозяин») – библейское название бога языческих семитов Палестины, Финикии и Сирии. В честь Ваала приносили человеческие жертвы. Культ Ваала имел сильное влияние на древних евреев, о чем свидетельствуют названия многих местностей, имена собственные, образованные от имени Ваал. Даже Бог (Яхве) называется Ваал (Веалия=Яхве есть Ваал [Ринекер, Майер]. Веалия (Бог-Владыка; 1 Пар. 12:5). «Это слово состоит из двух слов: Ваал-Иах – одно из лиц, перешедших к Давиду в Секелаге» [Библейская Энциклопедия]. «Скорее всего, в древности происходило смешение культа Ваала с почитанием Яхве <...> элементы культа Ваала проявлялись и в поклонении Яхве. Но, возможно, такое заимствование было неосознанным, и, по словам пророка, это смешение должно прекратиться после того, как Бог возродит Израиль» [Ринекер, Майер].

Называя так главу, Достоевский расширяет хронотоп, вводит в него историко-библейский контекст. Но здесь для писателя Ваал

становится символом буржуазного «благоденствия», в жертву которому принесен не только человек, но и народ.

Вместе с тем, хронотоп города (столицы) – и Лондона, и Парижа – моделируется как хронотоп маленького, провинциального по своей сути города. В Париже порядок, благоразумие, все определено, прочно. «Какое благоразумие, какие определено и прочно установившиеся отношения; как все обеспечено и разлиновано; как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы, и как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и... и... остановились на этом. Далее и дороги нет» (V, 68). В европейской столице – закрытое пространство и время. Пространство замкнуто, а время словно остановилось. Достоевский находит для этого убийственное определение: «затишье порядка». Примечательно, что синонимом «затишья» по отношению к жизни общества выступает безвременье как «эпоха общественной пассивности, застоя». И еще одно сравнение, которое приводит Достоевский: «...еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке профессорский немецкий городок...» (V, 68). Здесь напрямую «окаменелый» в соотнесении с уже указанными значениями свидетельствует об отсутствии развития в пространстве и времени: «Париж суживается».

Казалось бы, Лондон шире и перспективнее Парижа. Но и это не так. В нем «замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаяния «остановиться на statu quo^{**}, вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее...» (V, 69). Именно поэтому, при внешней широте, в нем нет перспективы, а есть суэта, буржуазный порядок, отравленная Темза, не личности, а людская масса. И в контексте такое описание лишь подтверждает мысль Достоевского о прекращении поступательного движения Западной Европы – в отличие от России, которой уготовало великое будущее.

Таким образом, хронотоп города эксплицирует авторскую картину мира – и этим данный хронотоп принципиально меняет

^{**} Существующее положение (лат.).

привычный хронотоп путешествия. С одной стороны, он включает в себя историческую перспективу, которая связана с авторской позицией и обусловлена ею. С другой – столичный город, описанный Достоевским, низводится на уровень бытовой локальности и представляет собою (перефразируя слова М. Громова о Чехове) внешнее проявление душевного застоя и нравственного захолустья.

Два с половиной месяца, пока Достоевский был в Европе (и об этом он в начале своих «Зимних заметок...» сообщает читателю), оказываются не столь уж важными для писателя. Реальное время и пространство в глазах читателя преобразуется в художественное. Достоевский видоизменяет хронотоп, и это приводит к жанровым сдвигам. М.М. Бахтин метафорически замечал: «... всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [Бахтин, 1975, с. 406]. Не описание Западной Европы было важно для Достоевского. Для него принципиальным оказывался разговор с читателем о проблемах, которые обнаружились в поездке. Необходимо было не столько рассказать об увиденном, сколько поговорить с читателями о важных для всего общества проблемах, волновавших самого писателя. И начав с декларации о совершенном путешествии, Достоевский уходит от привычного жанрового канона, поскольку меняется вся конструкция хронотопа, а это влечет изменение смыслов и – как следствие – проявляется в названии произведения, которое включает сразу несколько жанровых обозначений, по сути превращаясь в эссе – жанр художественно-публицистический, находящийся на пересечении литературы и публицистики и по природе своей близкий задачам и целям великого русского писателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акелькина, Е.А., Щенников, Г.К. Зимние заметки о летних впечатлениях // / Е.А. Акелькина, Г.К. Щенников // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник. – Санкт-Петербург: Изд-во Пушкинского Дома, 2008. – С. 209-211.

Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – Москва: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.

Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. – Москва: Художественная литература, 1975. – 502 с..

Библейская Энциклопедия: Труд и издание Архимандрита Никифора. – Москва, 1891. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sbible.ru/nik03.htm> (дата обращения: 15.02.2016).

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3 / В.И. Даль. – Санкт-Петербург: ТОО «Диамант», 1996. – С. 515.

Долинин, А.С. Достоевский и другие / А.С. Долинин. – Ленинград: Художественная литература, 1989. – 478 с.

Достоевский, Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. V. – Л.: Наука, 1973. – С. 46-99.

Западов, В.А. Александр Радищев – человек и писатель / В.А. Западов // Радищев А.Н. Сочинения. – Москва, 1988. – С. 14-15.

Захаров, В.Н. Поэтика хронотопа в «Зимних заметках» о летних впечатлениях Достоевского / В.Н. Захаров // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: вып. 8. – Москва; Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2013. – 460 с. – (Серия «Проблемы исторической поэтики»; вып. 11).

Новикова, Е.Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангельский текст и художественный контекст / Е.Г. Новикова. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. – 253 с.

Переверзев, К.А. Пространства, ситуации, события, миры: К проблеме лингвистической онтологии / К.А. Переверзев // Логический анализ языка. Языки пространств. – Москва: Языки русской культуры, 2000. – С. 255-267.

Ринекер, Ф., Майер, Г. Библейская энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/> (дата обращения: 04.02.2016).

Роболы, Т. Литература путешествий // Русская проза. – Ленинград: Academia, 1926. – С. 48-49.

Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – Москва: Академический Проект, 2001. – 990 с.

Топоров, В.Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст: семантика и структура. – Москва: Наука, 1983. – С. 227-284.

Щукина, Д.А. Пространство в художественном тексте и пространство художественного текста / Д.А. Щукина. – Санкт-Петербург: Филологический ф-т СПбГУ, 2003. – 218 с.

Gould, P.R., White, R. Mental maps. – Harmondsworth, 1974. – P. 312–317.

Montague, R. Pragmatics and Intentional Logic // Pragmatics and intensional logic // Synthese. – 1970. V. 22. – № 1. – P. 68–94.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА

Е.Н. Проскурина¹

*Институт филологии Сибирского отделения РАН
(Новосибирск)*

ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В НАСЛЕДИИ А. ПЛАТОНОВА: МЕЖДУ ПРИТЯЖЕНИЕМ И ОТТАЛКИВАНИЕМ

В статье исследуется творчество А. Платонова в аспекте христианской духовной традиции. Выявляется значение библеизмов в онтологической поэтике писателя. Показывается сложность отношения Платонова с православной традицией, в ранний период творчества базировавшегося на отталкивании, тогда как в зрелый – на все большем к ней притяжении.

Ключевые слова: творчество А. Платонова, духовная традиция в русской литературе, онтологическая поэтика, библейские мотивы.

E.N. Proskurina

*Institute of Philology, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,
(Novosibirsk)*

SPIRITUAL TRADITION IN ANDREI PLATONOV'S HERITAGE: BETWEEN ATTRACTION AND REPULSION

The article studies the work of Andrei Platonov in the aspect of the Christian spiritual tradition. It reveals the importance of Biblicisms in ontological poetics of the writer. Platonov shows the complexity of relations with the Orthodox tradition that displayed its repulsion in the writer's early time of creativity, while in his mature years he grew stronger attraction to it.

Key words: Andrei Platonov's creative work, spiritual tradition in Russian literature, ontological poetics, biblical motives.

¹ Елена Николаевна Проскурина, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИФЛ СО РАН, proskurina_elena@mail.ru

Христианская основа сознания Платонова была отмечена еще его современниками – литераторами, рецензентами, критиками. Среди современных исследователей есть точка зрения, представляющая религиозность писателя в категориях православной догматики [Антонова, 1995, с. 39]. И к этому действительно существуют основания – биографического и социологического плана: «низшим образованием» Платонова была церковно-приходская школа, где обязательными предметами были Закон Божий и церковное пение, что показывает наличие церковной «практики» у юного Платонова. По его собственному признанию, звук колокола Чугунной церкви в Ямской слободе он «умилительно» слушал вместе со старухами и нищими [Платонов, 1985, с. 487]. К тому же круг чтения в российской деревне и слободе к началу XX века складывался в основном из церковных книг, духовно-нравственной, житийной литературы [Корниенко, 2000, с. 133]. Весь этот детский опыт сохранился в активной памяти писателя, о чем свидетельствует поэтика платоновских произведений, а также любовного эпистолярия, прошитых аллюзиями на Священное Писание.

О православном вероисповедании Платонова есть и неоднократное свидетельство в его личных документах 1914-1916 гг. [Андрей Платонов, 2013, с. 38, 48, 54]. Можно было бы расценить данный факт как элемент его дореволюционной «анкетной» биографии. Но эта точка зрения опровергается неоднократными свидетельствами художественного плана. Так, например, сцене расстрела «буржуев» в «Чевенгуре» предшествует эпизод с поминальной книжкой, в которой перечислены имена поминаемых «о упокоении» и «о здравии». Такие именные книжки, куда вписывались имена усопших или живых родственников молящегося, еще до недавнего времени хранились в церкви и передавались священнику для называния имен при совершении проскомидии (сейчас их заменили записки соответствующего назначения). У Платонова поминальные книжки читают чекисты:

«"О упокоении рабов божьих: Евдокии, Марфы, Фирса, Поликарпа, Василия, Константина, Макария и всех сродственников.

О здравии – Агриппины, Марии, Косьмы, Игнатия, Петра, Иоанна, Анастасии со чадами и всех сродственников и болящего Андрея"»

– Со чадами? — переспросил Пиюся.

– С ними! – подтвердил чекист» [Платонов, 1991, с. 230].

Обращает на себя внимание абсолютное соответствие формального содержания поминальной книжки в романе православной церковной традиции. По свидетельству воронежского исследователя О.Ю. Алейникова, показательны и вписанные в нее имена: «Многие из них были настолько дороги Платонову, что едва ли следует считать случайным порядок их отбора. В частности, в записи об упокоении значатся Фирс, Василий и Константин. Фирсом звали деда писателя по отцовской родовой линии (Климентовых). Василием – по материнской (Лобочихиных). Константин Васильевич Лобочихин ... приходился Андрею Платонову родным дядей ... в перечне "о здравии" названы Мария, Петр, Андрей – имена матери писателя Марии Васильевны, его брата, Петра Платоновича Климентова. В этом же ряду – полученное при крещении имя самого создателя романа: в годы Гражданской войны будущий прозаик тяжело болел, поэтому понятен смысл добавленного к имени Андрей эпитета "болящий"» [Алейников, 2013, с. 132-133]. Расшифровка других имен из приведенного перечня – дело исследовательского будущего. По всей вероятности, Платонов встроил в сюжет своего романа родовую драму Лобочихиных-Климентовых, о чем свидетельствует карандашная запись на соответствующей странице рукописи: «Мама, помоги мне вспомнить» [Алейников, 2013, с. 133]. Таким образом, за внешне ироническим описанием сцены скрыт внутренний авторский порыв поминовения живых и умерших родных.

«Поминальная книжка» в варианте «поминальных листков» вновь появится в повести «Котлован» – в деревенской части: в сцене на Оргдворе:

«Вынув поминальные листки и классово-расслоенную ведомость, активист стал метить знаки по бумагам; а карандаш у него был разноцветный, и он применял то синий, то красный цвет, а то просто вздыхал и думал, не кладя знаков до своего решения. Стоячие мужики открыли рты и глядели на карандаш с томлением слабой души...» [Платонов, 2000а, с. 83].

Внутреннее напряжение, с которым следят за действиями Активиста мужики, говорит о том, что речь идет не о простой бумаге, а о документе, решающем их участь. О важности, ритуальности совершаемого свидетельствует также высокая, сказовая стилистика, в контексте которой канцелярские жесты Активиста приобретают значение магических действий: он не просто делает отметки в «поминальных листках», но «кладет», «метит знаки по бумагам». Можно предположить, что красный карандаш, которым Активист помечает имя деревенского жителя, означает обещание будущей, колхозной жизни ценой отказа от прежнего жизнеустройства, синий же используется для «ликвидации». Не случайно изображение вступления в колхоз сопровождается рядом знаковых жестов, таких как *прощание, просьба о прощении, последнее целование*, традиционных для православного обряда похорон, а также для Чина Прощения, совершаемого один раз в году в канун Великого Поста, в Прощеное Воскресенье:

«— Готовы, что ль? — спросил активист.

— Подожди, — сказал Чиклин активисту. — Пусть они попрощаются до будущей жизни.

Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес в тишине:

— Дай нам еще одно мгновенье времени!

И сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с ним.

— Прощай, Егор Семеныч!

— Не в чем, Никанор Петрович: ты меня тоже прости.

Каждый начал целоваться со всею очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого.

— Прощай, тетка Дарья; не обижайся, что я твою ригу сжег.

— Бог простит, Алеша, — теперь рига все одно не моя.

Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, потому что до этой поры они жили без памяти друг о друге и без жалости.

— Ну, давай, Степан, побратаемся.

– Прощай, Егор, – жили мы люто, а кончаемся по совести» [Платонов, 2000а, с. 86-87].

Эта обрядовая атмосфера знаменует окончание традиционного круга жизни. Колхозная предстает пространством смерти, что в тексте выражено мотивами *праха, пустого сердца* и др.:

«После целования люди поклонились в землю – каждый всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем.

– Теперь мы, товарищ актив, готовы, пиши нас всех в одну графу.

<...>

– Хорошо вам теперь, товарищи? – спросил Чиклин.

– Хорошо, – сказали со всего Оргдвора. – Мы ничего теперь не чуем, в нас один прах остался» [Платонов, 2000а, с. 87].

На наш взгляд, догматическое основание сознания Платонова все более отчетливо проявляется в его творчестве, начиная со второй половины 1920-х гг. В качестве точки отсчета можно определить повесть «Сокровенный человек» (1927), в названии которой скрыта цитата из Первого послания апостола Петра: «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3: 4). С этого времени начинается духовное трезвение писателя, в ранний период творчества претерпевшего сильнейшее искушение революционной идеей мирового передела. В начале 1920-х гг. религия и революция сливаются в сознании юного Платонова в некое единство. Любопытное подтверждение этой точки зрения находим в церковной метрической книге, содержащей запись о крещении его сына Платона, состоявшемся 7 ноября 1922 г. [Андрей Платонов, 2013, с. 93]. Обращает на себя внимание дата таинства, совершенного в день Октябрьской революции. Вряд ли этот факт можно отнести к случайным совпадениям. Ярче всего о религиозном отношении Платонова к Октябрьской революции свидетельствует его публицистика. В ней уже на уровне названия статей символизирована освященность революции именем Христа: «Христос и мы», «Да святится имя твое», «Душа мира», «Белые духом». В религиозных категориях он не раз манифестирует наступление новой эры, находя аналогии между евангельскими микросюжетами и современностью, часто оправдывая ими жестокость революции:

«Души людей помертвели и руки опустились у всех от ожидания веками царства Бога. И забыт главный завет Христа: царство божие усилием берется.

Усилием, борьбой, страданием и кровью, а не покорностью, не тихим созерцанием зла. Бичом выгнал Христос торгующих из храма, рассыпал по полу их наторгованные гроши.

Свинцом, пулеметами, пушками выметаем из храма жизни насильников и торгашей мы» [Платонов, 1990, с. 51].

Тем же религиозным чувством наделено отношение Платонова к будущей жене, роман с которой завязывается в это время. В его письмах к Марии Александровне ее образ не раз опоэтизирован образом Богородицы: «Вы – мой экстаз. И я люблю вас такую – сущую, реальную ... с глазами Девы Марии и с тоскою Магдалины» [Архив, 2009, с. 441]; «Ты оправдала мое пророчество: женщина, Мария, и не женщина, а девушка спасет вселенную через сына своего. Первым же сыном ее будет любимый, кого поцелует она в душу в ответ на поцелуй» [Архив, 2009, с. 439].

О жажде преображения косного – «ветхого» в терминологии Платонова – мира, распатывающей цельность его христианского мировоззрения, ярче всего говорит формирующийся в раннем творчестве писателя утопический сюжет «восстания на вселенную». Для становления его творческого сознания важным фактором послужил живой интерес к новейшим научным разработкам, касающимся природы света, а также трудам русских философско-космистов: «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова, учению о биосфере В.И. Вернадского, работам Г. Минковского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и др. Федоровская идея воскресения детьми умерших отцов, рационализирующая евангельскую максиму воскресения мертвых, на протяжении нескольких лет питала творческую мысль Платонова. В этот же ранний период *свет* станет одним из ключевых концептов его творчества. В собственных экспериментах писателя и экспериментах его героев со светом заложена идея перестройки вселенной – еще одна рационализация, на этот раз евангельского Преображения, через постижение тайны Фаворского Света: «Тогда у нас обоих родилась мысль о свете как об энергии, которой можно напитать и спасти человечество, – и вывести его на путь борьбы с этой вселенной, и победить ее, сделать

человеческой обителью» [Платонов, 2004, с. 191], – читаем, например, в рассказе «Невозможное». В варианте реализованного проекта она предстает в рассказе «Жажда нищего (Видения истории)», где особенно отчетливо ощущается связь между семантикой света у Платонова и Фаворским Светом: «На Северном полюсе горел до неба столб белого пламени в память электрификации мира» [Платонов, 2004, с. 167]. Идея постижения тайны света движет сознание платоновских героев-демиургов в «Сатане мысли», «Потомках солнца», «Приключениях Баклажанова», уже названном «Невозможном», «Рассказе о многих интересных вещах», «Лунных изысканиях», «Эфирном тракте». Проект создания фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора занимал мысль самого писателя, чему посвящены его статьи «На фронте зноя», «Свет и социализм», «О культуре запряженного света и познанного электричества». Однако над своим изобретением Платонов перестает работать уже к 1923 году [Комментарии, 2004, с. 582], сохранив его при этом в собственной прозе в качестве проекта героев. Последнее упоминание встречается в повести «Эфирный тракт» (1927), завершающей утопическую линию творчества писателя.

Уже эти примеры показывают, каким образом разновекторность усваивавшихся Платоновым мировоззренческих концепций отразилась на свойствах его художественной реальности, формировании авторской позиции, в начальный период творчества базировавшейся на наивном представлении об уничтожении очищающим пожаром революции «неправильной» вселенной и создании на ее месте человеческого, одомашненного *миро-здания* (ср. образ «общепролетарского дома» в «Котловане»), в котором уже не будет ни старости, ни голода, ни болезней, ни смерти. Религиозная в своей основе идея бессмертия встраивается в мировоззренческое поле революционной эпохи с ее верой в величайшие возможности человека, что приводит к переориентированию сознания Платонова. «Вся суть в том, что догадаться об истине нельзя, – пишет он в повести “Эфирный тракт”, – до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преобразаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. В этом была философия революции, случившаяся восемнадцать лет назад и не

совсем оконченная сейчас» [Платонов, 1984, с. 171]. То, что исконно принадлежало сфере откровения, переместилось в область прагматики. Вновь возникающий мотив *преображения* проявляет себя в том же рационализированном варианте освоенной человеком вселенной и познанной тайны мира. Показательно определение «полезного» тела, контрапунктивно диалогизирующее с преобразенным на горе Фавор телом Христа, одежды Которого «сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк. 9: 3). В этой скрытой аллюзии телесное начало противопоставлено духовности с позиции утилитарного предпочтения, что свидетельствует об инверсии традиционной ценностной парадигмы.

Раннее творчество Платонова предельно показательно в плане неустойчивости его метафизической позиции. Образ «ветхого» мира конфликтует в его произведениях с образом живой вселенной, предстающей в красках непостижимого великолепия: «Был глубокий вечер и звезды. От звезд земля казалась голубой. Звезды стояли. Игнат Чагов шел один в поле <...>. Он не мог видеть равнодушно всю эту нестерпимую, рыдающую красоту мира» [Платонов, 2004, с. 176] («В звездной пустыне»); «Если мир такой, какой он несть, это хорошо. И мы живем и радуемся, потому что душа человека всегда жених, ищущий свою невесту. Наша жизнь – всегда влюбленность, высокий пламенный цвет, которому мало влаги во всей вселенной» [Там же, с. 174] («Поэма мысли»); «Раз мы стояли ... в поле ранним летним утром. На востоке в нежном невыразимом свете горела одна пышная последняя голубая звезда... Это был час полета облаков и тихого света. Я узнал тогда, что полная тишина есть вселенская музыка, и слушать ее можно без конца, и позабыть жить. Мы стояли почти очарованные и почти плакали от восторга ... Мы тогда поняли, как много неземного на земле, как в нашу тяжелую вселенную врзаются другие, неведомые, чуждые и легкие, как свет и дыхание, миры» [Там же, с. 190] («Невозможное»). Парадокс состоит в том, что именно на этот мир «восстают» герои Платонова, мучимые его непознаваемостью, непостижимостью его красоты, которую, с их точки зрения, «надо или уничтожить, или с ней слиться» [Там же, с. 176] («В звездной пустыне»). Слияние с миром в наивном сознании персонажей оказывается гораздо более сложной задачей, чем уничтожение и создание на его месте новой вселенной –

«человеческой обители», т.е. места, более адаптированного к человеческому образу жизни, из которого устранено «невозможное», где нет тайн и загадок.

В этот же период Платонов вступает в игровые отношения с основным догматом христианства: Святой Троицы. В травестийном варианте он обыгрывается в рассказе «Тютень, Витютень и Протегален», в границах утопического сюжета варьируется в «Жаде нищего». В видении героя создается образ новой троицы, в которой роль отца играет богоравное коммунистическое человечество, сын – его воплотившееся сознание, Большой Один, а вылетевший из «смрадного тысячелетия» Пережиток – темный дух, лишаящий чистоты эту претендующую на идеальный статус модель, обременяющий ее тяжестью судьбы.

Невозможность художественного воплощения чаемого идеала становится в творчестве Платонова имплицитным проявлением действительности божественного Закона, выраженного евангельской максимой «Без Меня не можете творить ничего» (Ин. 15: 5). Именно эта семантическая стратегия набирает все большую силу в процессе творчества писателя. Его художественный мир словно замер в бытийном промежутке. В «Чевенгуре» идея недоовоплощенности мира означена церковнославянизмом «ненареченный»: «... он [Саша Дванов] не давал чужого имени открывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир оставался ненареченным, – он только ожидал услышать его собственное имя из его же уст, вместо нарочно выдуманных прозваний» [Платонов, 1991, с. 71]. В этом фрагменте скрыта аллюзия на библейский сюжет Творения, когда Бог дает именование созданным феноменам: «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью»; «И назвал Бог твердь небом»; «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями» (Быт. 1: 5-10), – а также наречения Адамом имен всем тварным существам (Быт. 2: 19-20). Проблема, поднимаемая Платоновым, связана не столько с вопросом о сакральности имени, как пишет об этом М. Любушкина, тонко исследующая функцию библеизмов в романе «Чевенгур» [Любушкина, 2005], сколько с сознанием новых людей – «строителей страны». Мир, открывающийся юному герою, не приобрел для него статуса явленности, сущести, поскольку его сознание лишено

духовной опоры: веры в Бога. Но этой «брони над сердцем» лишены и все другие персонажи Платонова. Потому создаваемый ими новый мир словно замирает между «альфой» и «омегой», оказывается распят между жизнью и смертью. Два крайних полюса космогонии: начало и конец – выступают в платоновских произведениях двумя равноправными сторонами напряженного онтологического поединка, в процессе которого рождение бытийно полноценного мира предстает лишь гипотетической возможностью, которую автору так и не удалось убедительно реализовать. Позиция онтологического промежутка предстает чрезвычайно рельефно через использование библейского образа «костей сухих» из книги пророка Иезекииля, приобретающего в платоновских произведениях характер сквозного мотива. Отметим в скобках, что данный фрагмент библейского текста входит в свод церковных чтений: он произносится один раз в году в Великую Пятницу, завершая «Чин погребения Христа». Живая память об этом микросюжете, проходящая через все творчество Платонова, может служить еще одним весомым свидетельством наличия у него опыта церковной жизни.

Мерцание образа «костей сухих» возникает в изображении «прочих» в «Чевенгуре», позднее – в изображении не живых – не мертвых персонажей «Котлована», в изображении народа джан в одноименной повести, в картине наркотического бреда Москвы Честновой во время ампутации ноги в романе «Счастливая Москва». Для наглядности приведем пример из «Чевенгура»: «На склоне кургана лежал народ и грел кости на первом солнце, и люди были подобны черным ветхим костюм из рассыпавшегося скелета чьей-то огромной и погибшей жизни» [Платонов, 1991, с. 276]. Сравним с фрагментом из Книги Иезекииля: «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них» (Иез. 37: 7-8). Данный отрывок проливает свет на истоки поэтики персонажей в главных произведениях Платонова. Однако в Библии «кости сухие» являются первоэлементом жизни, зарождающейся в них под воздействием Духа: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, – И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! Оживут

ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: “кости сухие! Слушайте слово Господне!” Так говорит Господь Бог костям сим: вот Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей и введу в вас дух, – и оживете, и узнаете, что Я – Господь» (Иез. 37: 1-6). Схожая с библейской семантика кости как первоэлемента воскресения возникает в эпизоде «Котлована», где больная Настя просит Чиклина принести ей материнские кости:

«– Неси мне мамины кости! Хочу их!

Чиклин ... пошел за костями в убежище на кафельном заводе; ведь едва ли кто унес оттуда мертвую женщину. <...> Чиклину долго пришлось отнимать камни от дверного входа, который он сам заваливал для сохранности покойной ... сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни, потом потрогал весь скелет до ступней, – она вся была еще цела, только самое тело исчезло и вся влага высохла. Унести скелет целиком было трудно, тем более что скрепляющие хрящи давно завяли; поэтому Чиклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и сложить их, как в мешок, в свою рубашку. <...> Настя сильно обрадовалась материнским костям; она их по очереди прижимала к себе, целовала, вытирала тряпочкой и складывала в порядок на земляном полу. <...> Иногда вдруг наставляла тишина, только слышно было, как Настя шевелила мертвые кости <...>

– ... Чиклин, положи мне ближе мамины кости, я их обниму и начну спать. Мне так скучно стало сейчас!

Чиклин сложил кости к Настиному животу, укрыл ее потеплее двумя пиджаками...» [Платонов, 2000а, с. 112-113].

Описание материнских останков и их сбережения напоминает истории обнаружения и схоронения мощей святых, где важна сохранность не столько тела целиком, но именно костей. «Быстрое разрушение плоти при сохранении костей считается признаком святости, например, на Св. Горе Афон» [Примечания, 2000а, с. 162]. В духовной традиции, и не только христианских народов, как пишет М. Элиаде, «кость символизирует первичный корень животной жизни, матрицу, из которой постоянно обновляется плоть. Животные и люди возрождаются, начиная именно с костей...» [Элиаде, 1996, с. 92].

Вместе с тем, в сцене «обретения» костей Юлии есть ряд элементов, аллегорично направленных на евангельский эпизод захоронения-воскресения Христа: поход Чиклина «в убежище на кафельном заводе» с мыслью, что «едва ли кто унес оттуда мертвую женщину»; заваливание дверного входа камнями «для сохранности покойной», которые герой по возвращении долго отнимает от прохода; исчезновение тела («она вся была цела, только самое тело исчезло»).

Мотивный образ «костей сухих» – одно из наиболее показательных свидетельств того, что сама поэтика платоновского языка имеет глубинную соотнесенность с духовной традицией, соединяя в себе мифологическое начало со Священным Писанием, мистериальными по самой своей природе.

В целом в прозе Платонова наступление стадии возрождения отнесено в затекстовое пространство, ибо сроки светлой эпохи воскресения мира автору не ведомы. Отсюда ощущение безвыходного трагизма его произведений, тотальности господства смерти в его художественной реальности [См., напр.: Ведрухин, 2013; Никольский, 2014], отражающей состояние социалистического мира во временной точке *здесь и сейчас*. Так в творческой перспективе мысль Платонова все дальше движется по пути разочарования в его юношеской вере в социализм как реализованную утопию, наступление «царства сознания» и благоденствия, осуществление того «невозможного», что в раннем творчестве символизировало абсолютное бытие. В то же время уникальный авторский стиль, с его сквозной амбивалентностью, где каждый элемент включает в свое семантическое поле противоположное значение (например, мотивные дуады *дома-могилы, пустого/свободного сердца, ямы-утробы, погребели-спасения* и др.), символизируют идею смерти-воскресения, заряжающую весь платоновский Текст возрождающим началом.

Можно заключить, что творческое сознание Платонова пребывает в метущейся позиции между надеждой и отчаянием, притяжением к Истине и отталкиванием от нее, что и создает ощущение трагической напряженности художественного мира писателя. О его возвращении в сферу духовной православной традиции, пожалуй, наиболее убедительно свидетельствует финал опубликованной части романа «Счастливая Москва». Задуманный как панегирик новому миру и новым советским людям, к концу он все

более напоминает элегию в прозе. Для подтверждения данной мысли обратимся к эпизоду на Крестовском рынке, где Сарториус словно путешествует вглубь российской истории, вытесненной за пределы новой Москвы и новой жизни и превращенной в кладбище культуры:

«В специальном ряду продавались оригинальные портреты в красках, художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами уездных городов ... Позади фигур иногда виднелась церковь ... росли дубы счастливого лета, всегда минувшего.

Сарториус долго стоял перед этими портретами прошлых людей. Теперь их могильными камнями вымостили тротуары новых городов и третьи или четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи: “Здесь погребено тело купца 2-й гильдии города Зарайска, Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было... Помяни мя господи во царствии твоём” – “Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой... Нам плакать и страдать, а ей на господу взирать...”» [Платонов, 1999, с. 96].

Показательна ностальгическая интонация, сопровождающая авторское изображение навсегда исчезнувшего русского мира, где выделены элементы многовековой традиции, попорченной новыми поколениями. Заканчивается элегический пассаж картиной, возникшей в сознании Сарториуса под впечатлением его кладбищенского путешествия:

«Вместо бога сейчас вспомнил умерших Сарториус и содрогнулся от ужаса жить среди них, – в том времени, когда не сводили лесов, убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и плакал по вечерам при керосиновой лампе или в светящий полдень лета – в обширной, шумящей природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука. Она не Москва Честнова, она Ксения Иннокентьевна Смирнова, ее больше нет и не будет» [Платонов, 1999, с. 92].

Ведущим в движении повествования оказывается мотив *строительной жертвы*: новый мир возводится на костях умерших, из их могильных плит, что вызывает у героя чувство ужаса, но вместе с

тем выводит на первый план образ прошлого, затеняя героиню нового мира Москву Честнову Ксенией Иннокентьевной Смирновой. Образ той, которой «больше нет и не будет», оказывается ценней любимой живой Москвы. В записных книжках Платонов прорабатывает разные варианты судьбы Сарториуса. Особенно знаменательна последняя запись, относящаяся к судьбе героя и роману в целом: «Он, Sartorius, все же время от времени вспоминает себя прежнего, неизменного, давнего, и втайне хочет возвратиться в то, пусть бедное, но “естественное” состояние» [Платонов, 2000б, с. 209. Подчеркнуто автором. – Е.П.]. В ней явно выражена мысль о тупиковости скитальческих «превращений» героя, трагизме его ухода от самого себя. Следующие один за другим эпитеты «прежний», «неизменный», «давний», «естественный» усиливают ностальгические настроения Сарториуса – выходца из русской деревни с родовой фамилией Жуйборода – по собственному прошлому.

Особой одухотворенностью отмечено творчество Платонова периода Великой Отечественной войны, что показывают названия таких его произведений, как «Одухотворенные люди», «Неодушевленный враг», но в наибольшей степени – рассказа «Взыскание погибших». В качестве заглавия Платонов использует здесь название иконы Богородицы, известной на Руси с XVIII в. и прославившейся многими чудесами. Кроме заглавия, обращает на себя внимание предпосланный рассказу эпитафия: «Из бездны взываю», под которым стоит подпись: «Слова мертвых». За ней скрыт источник цитаты, каковым является 129 псалом: «Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь глас мой» (Пс. 129: 1). Это один из покаянных псалмов, читаемых в православной церкви на вечернем богослужении, а в западной христианской традиции являющийся основополагающей частью заупокойной службы – реквиема («De Profundis»). Таким образом, в рассказе возникает новый план – молитвенный: от лица всех погибших на войне, взывающих к милосердию живых, и от лица матери, потерявшей своих детей и живущей «остатком слабой души» в надежде скорой встречи. Называя героиню Марией Васильевной – именем своей матери, – Платонов предельно сближает биографию собственной семьи с общей драмой страны. Показательно, что впервые рассказ был опубликован под названием «Мать» с подзаголовком «Взыскание погибших». В

соотнесенности с названием рассказа в семантике имени Мария появляются богородичные обертоны, связывающие платоновский сюжет со страстным евангельским сюжетом, а также с апокрифом «Хождение Богородицы по мукам». Образ матери, потерявшей своих детей, возводится к образу Девы Марии как высочайшему образцу жертвенного материнства. В изображении ее мертвых детей, которые лежат в могиле «нагие ... умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками» [Платонов, 1985, с. 106], собраны характеристики, соотносящие их образ с образом Распятого Христа. Так, наряду с мотивом *материнской скорби*, в текст рассказа автором вводится мотив *ненапрасной жертвы*. Как *жертва за мир* он зазвучит в последних строках произведения: «Нужно ... суметь жить после победы той высшей жизнью, которую нам безмолвно завещали мертвые; и тогда, ради их вечной памяти, надо исполнить все их надежды на земле ... Мертвым некому довериться, кроме живых, – и нам надо так жить теперь, чтобы смерть наших людей была оправдана счастливой и свободной судьбой нашего народа и тем была взыскана их гибель» [Платонов, 1985, с. 108].

Плач матери у креста на могиле детей: «Были бы вы живы, сколько бы работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь, что ж, теперь вы умерли, – где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас? ... Сколько я сердца своего истратила на вас, сколько крови моей ушло, но, значит, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли...» [Там же, с. 106] – генетически восходит к плачу Богородицы у Креста:

О свете пресветлый, Заря присносущная,
Где Твоя зайде красота, светолучная невечерняя,
Добровидный Сыне мой, сладчайшая доброта,
Где Твой вожделенный лица зрак, краснейший Свете мой...

[Плач Богородицы]

В иконографическом плане эпизод соотносится со сценой оплакивания Христа – в православной традиции это иконографическая композиция «Не рыдай Мене Мати», представляющая Богородицу

рядом с обнаженной фигурой Спасителя, лежащего во гробе на фоне Креста¹.

У биографического сближения образа матери с образом Богородицы есть и реальные основания: рассказ был напечатан в газете «Красная Звезда» осенью 1943 г., а в начале января того же года умер сын писателя Платон. То есть в образе своей скорбящей героини Платонов объединил и собственную скорбь по умершему сыну, и скорбь своей жены, тоже носящей имя Мария. Мать писателя умерла в 1929 г.; возможно, именно этим определяется выбор ее имени, а не имени жены Марии Александровны для именованя героини рассказа, умирающей на могиле своих детей. В этой финальной сцене вновь усиливается ее сближение с образом Богоматери, на этот раз в красках иконографии «Успения»:

«Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, прикинувшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание ... “Ее сердце ушло, – понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой ... – Ей и жить-то уж нечем было”

...

– Спи пока, – вслух сказал красноармеец на прощанье. – Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой...» [Платонов, 1985, с. 108-109].

Эпизод содержит множество отсылок к той части богородичного сюжета, которая открывается Распятием: это и скорбь Богоматери у Креста (выше читаем: «Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей. Мать села у этого креста...») [Там же, с. 106]), и образ Плащаницы, которой апостолы покрыли тело усопшей Девы Марии (чистая холстинка, которой красноармеец покрывает «утихшее лицо покойной»), и мотив *успения* как символ вечной жизни («спи пока»). Также и чувство сиротства, испытываемое

¹ В иконографии западного христианства тело мертвого Христа лежит на коленях склонившейся над ним Богородицы (пѣта). Из этого сопоставления видно, что платоновская сцена у могилы ближе к восточной иконографии, хотя и не дублирует ее.

красноармейцем, сходно с тем, которое, по Преданию, охватило апостолов в момент усупения Богородицы¹.

Наверное, трудно найти в творчестве Платонова текст, который, подобно рассказу «Взыскание погибших», на своем небольшом пространстве был бы так густо покрыт новозаветным слоем в его неискаженном, неинверсированном варьировании.

В целом анализ наследия Платонова сквозь призму духовной традиции лишь намечен в литературоведении и ждет детального изучения. Без этого задача проникновения в смысл платоновского письма оказывается невыполнимой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алейников, О.Ю. Андрей Платонов и его роман «Чевенгур». – Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 222 с.

Андрей Платонов. Личное дело. – Воронеж: Дирекция Междунар. Платоновского фестиваля, 2013. – 304 с.

Антонова, Е. «Безвестное и тайное премудрости...» (Догматическое сознание в творчестве А. Платонова) // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. – Москва: Наследие, 1995. – С. 39-53.

Архив А.П. Платонова. Кн. 1. Науч. изд. – Москва: ИМЛИ РАН, 2009. – 709 с.

Ведрухин С. Заметки о прозе А. Платонова (Публикация Ильи Кукуя) // Russian Literature. – LXXIII-I/II. – 2013. – С. 163-208.

Комментарии // Платонов А. Соч.: Науч. изд. Т.1. Кн. 1. – Москва: ИМЛИ РАН, 2004. – С. 445-644.

Корниенко, Н. Наследие А. Платонова – испытание для филологической науки // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4, Юбилейный. – Москва: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. – С. 117-137.

¹ «... радуемся об исполняющемся на Тебе определении Божиим, но и печалимся о том, что остаемся сирыми и здесь уже не увидим Тебя, нашу Матерь и Утешительницу» [Сказания].

Любушкина М. Библия в романе «Чевенгур» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 6. – Москва: ИМЛИ РАН, 2005. – С. 354-360.

Никольский, С. А. Смерть в большой прозе Андрея Платонова // Андрей Платонов. Философское дело. – Воронеж, 2014. – С. 232-288.

Платонов, А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. – Москва: Советская Россия, 1984. – 463 с.

Платонов, А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. – Москва: Советская Россия, 1985. – 574 с.

Платонов, А. Чутье правды. – Москва: советская Россия, 1990. – 464 с.

Платонов, А. Чевенгур. – Москва: Высшая школа, 1991. – 654 с.

Платонов, А. Счастливая Москва // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. – Москва: Наследие, 1999. – С. 7-106.

Платонов, А. Котлован. Материалы творческой истории. – Москва: ИМЛИ РАН, 2000а. – С. 21-116.

Платонов, А. Записные книжки. Материалы к биографии. – Москва: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000б. – 421 с.

Платонов, А. Сочинения: Науч. изд. Т.1. Кн. 1. – Москва: ИМЛИ РАН, 2004. – 688 с.

Плач Богородицы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.joov.net/text/116737780/hor_svyato-elisavetinskogo_jenskogo_monastyirya_g_minsk_regent_poslushnitsa_irina_denisova-plach_bog.htmls. (18.04.2016).

Примечания // Платонов А. Котлован. Материалы творческой истории. – Москва: ИМЛИ РАН, 2000а. – С. 140-162.

Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.verappravoslavnaaya.ru/?Zemnaya_zhiznmz_Bogorodicy#g9) (18.04. 2016).

Элиаде, М. Мифы. Сновидения. Мистерии. – Москва: Рефл-бук, Ваклер, 1996. – 288 с.

СЕВЕР: МЕТАФИЗИКА И ПОЭТИКА

О.М. Гончарова¹

*Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург)*

МЕТАФИЗИКА СЕВЕРА: ОСМЫСЛЕНИЕ *МЕСТА* ЭТНИЧЕСКОГО БЫТИЯ

Своеобразие «северной метафизики» состоит не только в ее привязанности к традиционным мыслительным практикам, но и в том, что ее мировоззренческие потенциалы реализуются главным образом в литературном дискурсе и отражены в эстетически воссозданном геокультурном образе этнического пространства. Осмысление «родной земли» или философия *места* связаны в этом случае с решением проблем онтологии, с обоснованием истинности и сущности этнического бытия.

Ключевые слова: младописьменные литературы и философия Севера, геокультурный образ, философия места в литературном дискурсе, философская топонимика Ю. Вэллы.

O.M. Goncharova

*Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
(Saint-Petersburg)*

METAPHYSICS OF NORTH: UNDERSTANDING *THE TOPOI* OF ETHNIC EXISTENCE

“The metaphysics of the North” is original not only due to its ties to traditional thinking practices, but also because its ideological potentials that are realized mainly in literary discourse and reflected in the form of geo-cultural ethnic space that is recreated aesthetically. Understanding the

¹ Ольга Михайловна Гончарова, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы РГПУ им. А.И. Герцена

“native lands” or philosophy of *ethnic topos* in this case is related to the issue of ontology, to defining the truth and the spirit of ethnic existence.

Key words: newly-created written literatures and the philosophy of the North, geo-cultural image, philosophy of *topoi* in the literary discourse, philosophical toponyms by Yuri Wella.

Дискурсивное пространство младописьменных литератур Севера, проявившее свои этнокоммуникативные потенциалы в выражении *своего, самобытного* смысла, в обсуждении проблем *бытия* «малых народов» в глобальном мире в последние годы все более тяготеет к философским высказываниям о мире и человеке. Философские размышления присущи сегодня и поэзии, и прозе, и публицистике с их общей интенцией к созданию особого типа художественно-синкретичных текстов, отражающих традиционно многомерную целостность мыслительных практик. О.К. Лагунова так определила один из авторских замыслов хантыйского писателя Е. Айпина: «Предметом изображения в книге “У гаснущего очага” является *Всё*, причем не статичное, застывшее, а находящееся в вечном процессе повторения-обновления» [Лагунова, 2007, с. 172]. Такое *Всё* и становится основанием философской рефлексии любого этнического писателя, что так не похоже на принципы и способы научного философствования, неизменная привычка к которым мешает, к сожалению, распознать яркую мысль иной традиции и иной культуры.

Увидеть в мышлении этнического художника философские интенции и, главное – понять их, мешает покровительственное отношение и к наивно-простому слову аборигена, и к его «первобытному мышлению», не пришедшему, якобы, к логической стройности философствования как такового. Разделение мифоса и логоса кажется сегодня неременным условием построения интеллектуальных систем в западноевропейской и восточной философии, но, как пишет С.Н. Харючи, «Север – это не Запад... и не Восток», это свои «оригинальные мировоззренческие конструкции и философские представления» [Харючи, 2006, с. 16-17]. Мировоззрение человека традиционной культуры обладало таким уровнем цельности, что сегодня практически не доступно столь же целостному описанию, поскольку включает в себя «весь сакральный мир, сформированный в сознании людей в течение тысячелетий» [Динисламова, 2009, с. 9].

Своеобразие «северной метафизики», по мнению Г. И. Варламовой (Кэптукэ), состоит в том, что традиционным этносам «была свойственна не первобытность, а первородность мышления и мировосприятия» [Варламова, 2004, с. 54]. Эта «первородная» целостность и «законность» миропорядка осмысливается сегодня в литературных текстах: например, в «Языческой поэме» Ю. Шесталова, где слышится «запах земли» и «дыхание космоса», или в поэме А. Кривошапкина «Мир эвена», где красной нитью проходит мысль, выраженная в строках – *«Неписанных законов древних свод / эвены чтят и дышат ими так, / как прежде предки их, как и теперь / потомки: это воздух их»* [Кривошапкин, 2008, с. 20-21].

Если, как отмечает И.П. Смирнов, «философское высказывание жаждет быть универсально приложимым» [Смирнов, 2010, с. 7], то и мировоззренческие установки носителя традиционной этнокультуры можно признать именно «универсально приложимыми». Философия взыскует при этом и истины: «что есть истина?» – вечный вопрос философского дискурса, но логика истины сложна, она может меняться или отвергаться: например, в ходе полемики или в критике других мыслителей [см.: Смирнов, 2010, с. 13-18]. В мифологическом мышлении истина имеет другой статус – она сакральна, преднайдена и вечна, истину не ищут, а врастают в универсальные смыслы. Так «древняя философия» сохраняет неизменный «мировой порядок». Самым показательным образом выразил эту идею К. Леви-Строс в «Неприрученной мысли» – «“Каждая сакральная вещь должна быть на своем месте”, – глубокомысленно заметил мне один туземный мыслитель» [Леви-Строс, 1994, с. 121]. Так что мифос и логос не противоречат друг другу: логика миропорядка и есть логика «неприрученной мысли», отраженная и в логике жизни. «Малочисленные народы, – отмечает Ю.Г. Хазанкович, – понимают мир как часть себя и воспринимают себя как часть мира, заботятся о нем, как о себе. Для них – миф есть изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь» [Хазанкович 2013, с. 55].

Однако время глобальных «перемен» и нивелирования исконных смыслов потребовало исканий истины и от этнокультур. «Я ищу Истину» – так сформулировал свою позицию Е. Айпин в книге

публицистики «Обреченные на гибель» [Айпин, 1994, с. 67]. В его текстах звучит мысль и об «Истине Истин» или о «величайшей Истине Истин» [Айпин 1994, с. 67; Айпин 1995, с. 172], то есть о том главном, что может разъяснить своим современникам художник. Философская рефлексия об *истинном*, таким образом, возникает не внутри этнической традиции, а на границе столкновения этнокультуры и современной цивилизации, поскольку именно здесь рождаются не только геополитические, геокультурные проблемы, но и возникают сугубо философские вопросы – онтологические, антропологические, натурфилософские. В «Языческой поэме» Ю. Шесталова именно на «стыке» времен, в тот момент, когда тихую тайгу «встряхнул» первый факел газа и она «съежилась», возникает «мысль» – «Все живое задумалось. У каждого зрела своя мысль». Есть она и у поэта, его мысль – о родном *месте*: «Югра моя!», «Мансийская земля» [Шесталов, 1997, I, с. 220, 223].

Осмысление «родной земли» или философия *места* – своеобразный ментальный узел, связывающий воедино целый спектр вопросов, и один из важнейших аспектов философского освоения мира в литературной традиции Севера. Категория *места* понимается в этом случае и как пространство-время бытия этноса, и как лично-родное пространство, и как родовое наследие. Аборигенные культуры, мыслящие свою локальность не как замкнутость, а как противоположность *иному* в оппозиции *свое / чужое* или *своеобразие / унификация*, свой этнический *locus* видят изнутри как местоприсутствие и месторождение (*locus natalis*) народа, как беспредельный и целостный космос, столкнувшийся с хаосом (безместностью и без-временностью) современной цивилизации. В мировоззрении ханты, по словам знатока и хранителя традиций М. К. Волдиной, «каждый миг проживания человека связан с космическим пространством – “бесстенным, бездверным миром”, где человек соприкасается с солнцем, звездами, луной, ветром, водой, соприкасается, проживает с временами года <...>, встречается с утром, днем, вечером, ночью» [Волдина, 2010, с. 37]. *Свое место* – это этническое пространство, «осмысленное (в духовной сфере), освоенное (в экологической среде), созданное (в материальном отношении), обобществлено-присвоенное (в социально нормативной области)», или «культурная ниша человека» [Головнев, 1991, с. 189].

Осмысление этнокультуры сквозь призму философии *места* стало авторским замыслом очень своеобразной книги К. Ханькана «Живой поток». На ее суперобложке автор напишет: «Немного осталось на планете таких не тронутых цивилизацией мест, как моя малая родина. Я проведу вас по заросшим тропам оленеводов-кочевников, покажу дивных животных и птиц, дам прикоснуться к тайнам древней земли. <...>. Только так можно сохранить хрупкое равновесие по имени Север. Живой поток не должен иссякнуть и об этом моя тревога» [Ханькан, 2007]. Простота и безыскусность рассказов, включенных в книгу, оказываются мнимыми: описывая путь врача-ветеринара по землям оленеводческого совхоза, автор открывает вдруг «живой поток» простой, но подлинной жизни. Хозяйственно-практичный локус оживает (в рассказах жителей) и приобретает необыкновенную смысловую глубину (в легендах, преданиях, приметах, воспоминаниях). «Мощный бурлящий поток во всю ширину речки катился <...> по сухому руслу. <...>. Вода шумела, плескалась» – так метафорически представляет автор итог своих наблюдений [Ханькан, 2007, с. 165].

Конечно, семантика *места* может быть связана с универсальным образом locus amoenus, особенно в лирике или лирической прозе. Например: «Скучаю по тундре, скучаю...» (А. Кымытваль), , «Спасибо, тундра, я приду опять, / Приду, как дочь – / Всплакнуть иль рассмеяться, / Приду опять польнь твою размять, / Все передумать, всю тебя обнять / И в сотый раз / В любви к тебе признаться» (Т. Ачиргина). Тема любви к своему «родовому месту» – одна из самых показательных для «северной» лирики. Ительменская поэтесса Н. Суздалова видит его так: «Там, действительно, благословенное место. У нас на полуострове считают, что в Сопочном возле Ичи находится темечко Камчатки и всей России. Там две речки соединяются – Россошино и Сусвэй, и вся Природа располагает к творчеству. Уже во взрослом осознанно возрасте я там ощущала необыкновенное состояние счастья» [Суздалова, 2011, с. 286]. Но лирика не дает нам реального изображения *места*, поскольку здесь оно осмысливается как впечатление, как духовное пространство, как космос бытия, а не сиюминутность быта, даже в том случае, когда речь идет о конкретно поименованном «родном месте».

Хотя когда-то, на заре становления литературной традиции именно быт зачастую становился материалом для рассуждений о судьбах «малых народов»: например, в книге очерков «На Крайнем Севере» Текки Одулока (1933), отразившей впечатления автора от поездки по родным местам. Это – почти географическое описание Колымы и Чукотки, но волнует автора жизнь народа, описанная в самых драматических тонах даже не как быт, а прозябание: «звериная жизнь», «тиски домашнего рабства», «голод», «грязь» [Одулок 1987, с. 254]. Конечно, Теки Одулок был сыном своего сложного времени, которое определило и его трагическую судьбу. Но обращение к истории помогает увидеть, что проблема «образа Севера» как родной земли или места действительно существует. Север как географическое пространство подвергался в истории различным типам конструирования: по-своему виделся он в первые годы новой власти, иным выглядит сегодня – теперь это место «освоения природных богатств», «добычи нефти и газа», «интенсивного развития». Такое восприятие *места* отражено прежде всего в русском литературном дискурсе: например, Ханты-Мансийск видится сегодня в основном как «осуществимая мечта, творимая легенда, – возникновение города в непроходимой тайге воспринималось как чудо, и оно было обязано героическому труду человека» [Рябий, 2012, с. 100]. Иногда *место* может осмысляться по-другому: «В прозе Н. Коняева “Околоток Перековка”, “Ой, ля-ля”, романе С. Козлова “Вид из окна” образ Ханты-Мансийска связан с темой денег и делового мира, символизируя локус зла» [Рябий, 2012, с. 104]. Однако даже и в такой интерпретации описываемый локус не имеет никакого отношения к его этнической и автохтонной принадлежности и даже к старинному названию места – Остяко-Вогульск.

Кажется, что у коренных народов Севера не осталось *своего места* в этих *чуждых*, кем-то сконструированных моделях, и его автохтонный образ изменился бесповоротно. А потому утрата *своего места* или «кончина земли» осмысливается писателями-северянами как трагедия универсального миропорядка. Е. Айпин в статье «И уходит мой род» пишет: «А почему мои соплеменники преждевременно ушли в мир иной? Быть может, потому, что они лишились жизненного пространства, им не осталось места на земле. Для жизни. Для дыхания. Для радости и горести... Кончилась земля

предков. Мой старик отец понял это давно, когда еще никто не верил в кончину земли, а значит, и в кончину жизни рода, жизни племени» [Айпин, 1994, с. 16]. Размышлениями о *«родной земле, / измученной, изъезженной, святой, / что под пятой прогресса чуть жива»* пронизана и поэма А. Кривошапкина «Священный олень» [Кривошапкин, 2008, с. 18], и книга Ю. Вэллы «Белые крики»: «*О, родная земля! – / Не осталось земли – / Ее превратили в сплошные дороги, / Ее превратили в сплошные карьеры, / Ее превратили в сплошные окраины городов. / К кому обратиться мне, / Выжившему сегодня к несчастью своему?»*. Или в другом месте: «Идет в школе урок родного языка. Учитель дает детям такие слова: киври (колодец), суван (навес для нарт), пухул' (стойбище). Маленький Семен переводит эти слова с хантыйского на русский и добавляет от себя: “У нас есть киври, у нас есть суван для нарт, наш пухул' красив летом”. Бедный мальчик! Он говорит есть, а я знаю, что это было. Было, и уже два года, как его стойбища нет, его родное стойбище попало под Покачевское нефтяное месторождение, на месте его пухул'а, сувана и киври, на ягельном бору, где он бегал босиком наперегонки с длинноногим олененком, возвышается стальной великан – Буровая Вышка. А маленький Семен с матерью сегодня живет в поселке в стареньком колхозном домике» [Вэлла, 1996, с. 84, 90].

«Кончина земли» – это философема, отражающая осмысление фальшивого лика современной цивилизации с ее давно пройденными, но не усвоенными уроками колонизации. А потому *Слово* о «малой родине» в большой стране оказывается крайне значимым. Истинная и подлинная «родная земля» в повести Т. Молдановой «Касания цивилизации» оказывается в трагическом соседстве с пожирающим ее «огромным железным чудовищем» [Молданова, 1997, с. 62]. В повести Г. Кэптукэ «Маленькая Америка» *свое место*, куда возвращается после странствий по *чужим* землям героиня, тоже стало *чужим*: ее родной поселок так изменился, что даже потерял свое имя – стал «Маленькой Америкой», враждебной и губительной. В «Языческой поэме» Ю. Шесталова «родная земля» тоже стала другой: «“Земля моя! Какая у тебя песня? Тайга моя! Какая у тебя сказка?” – “Песня моя – нефть. Сказка моя – газ”. <...>. Я больше не стал спрашивать, ведь шла вторая половина сложного двадцатого века» [Шесталов, 1997, I, с.

155]. В «Белых криках» Ю. Вэлла человек утратил даже свое *место* на «родовом кладбище», где автор видит разрушенные «лопатой» могилы и кости [Вэлла, 1996, с. 98]. «*Отнята земля, / Отнята река, / Небо отнято*» – подытоживает свои размышления Ю. Вэлла в стихотворении «Отнята земля – отнята душа», но оставляет надежду на поиск истины – «*Но отнимется ли душа?*» [Вэлла, 1991, с. 34]. Надежда остается потому, что «величайшая Истина Истин, – пишет Е. Айпин, – в том, что землю можно только полюбить, но нельзя покорить» [Айпин, 1995, с. 172].

Может быть, именно поэтому Ю. Вэлла – поэт и философ – занялся и активным жизнетворчеством. Э. Уигет, исследователь культур коренных народов Америки и России, написал о нем: «На его визитной карточке значилось: “Оленевод. Поэт”. Не каждый день увидишь такое сочетание. С другой стороны, Юрий Вэлла был таким человеком, которого встречаешь не каждый день. <...>. В 1990 году он решил перевезти свою семью обратно в лес. Он сознательно вернулся на родовые земли со своей семьей и стадом оленей в десять голов, чтобы вести традиционное хозяйство и создать заповедный “остров” традиционной культуры ради будущего своих детей посреди океана разрухи. <...>. Он читал гостям свои стихи, знакомил их с традициями своего народа, напоминая западному техно-индустриальному обществу консьюмеризма о непреходящих ценностях культуры коренных жителей Севера» [Уигет, 2013]. Так же поступила в поисках истины и «родной земли» ненецкая писательница А. Неркаги, которую теперь принято называть «апостолом тундры».

Одновременно в художественном творчестве северян появляется и другой *образ места* – свой, сокровенный, подлинный. Это место-пространство, увиденное не со стороны более просвещенным, технологически вооруженным современником, а *место*, выявляющее свои истинные смыслы изнутри и оживающее под пером автора-мыслителя в его *Слове*. Основанием философской рефлексии о *месте* этнического бытия становится понимание того, что теперь оно может быть сохранено только в памяти и в *Слове*. В размышлениях А. Немтушкина о судьбе своего народа память становится главной опорой человека среди бурь и несчастий современности: «Я хорошо помню свое детство в Токме, в маленьком селении, затерявшемся среди моря тайги. <...>. Ниже Токмы есть еще

одна речка, приток Непы, Ирэскит. Вот там и лежат родовые земли моих предков. Там зарыта моя пуповина, навсегда, словно маутом-арканом привязавшая меня с этой землей» [Немтушкин, 1991, 15]. Поводом для осмысления *своего места* может стать и путешествие в далекие земли. Е. Айпин в очерках, описывающих его поездку в Канаду и Америку, в *чужих* местах размышляет о *своем*. Знакомство с жизнью современных потомков индейских племен и местами их жизни помогает автору-путешественнику увидеть не только общность судьбы и культуры, но и понять место своего народа в мире аборигенных этносов. Бытийственность *своего*, таким образом, удостоверяется отражением в *чужом*, но столь похожем. «Значит, – пишет Е. Айпин, – у наших народов много общего <...>. Значит, хотя нас и разделяет бескрайний океан и живем мы на разных континентах, но по духу и образу жизни мы близки» [Айпин, 2014, III, с. 285].

Самым необычным философским дискурсом о *месте* стал трехтомный словарь Ю. Вэллы – «Река Аган со притоками. Опыт топонимического словаря». В предисловии автор дает понять, что его книга – тоже своеобразное путешествие: «Согласно обычаю ненцев и ханты – коренных жителей реки Аган – река начинается от устья и продвигается к верховью. <...> так я реку и буду пересказывать для Тебя, мой читатель. Сначала мы проедем на обласе от устья до верховья вдоль русла реки, а потом я расскажу о притоках. И отправлюсь вокруг реки Аган – по солнцу <...>. Потом очень кратко поведаю о населенных пунктах и намекну о некоторых святилищах и аномальных местах» [Вэлла, 2010, с. 5]. Значимым оказывается в данном случае выбор формы общения с читателем. С одной стороны, это топонимическое описание родных мест и, казалось бы, очень типичное: топонимикой увлечены сегодня многие малочисленные народы России¹. Эта линия этнокультурного дискурса, как показала Т.В. Давыдова, имеет прежде всего историографический характер, хотя и включает этнолингвистический и этнографический элементы

¹ Можно назвать, например, такие издания, как «Топонимия Заонежья» И.И. Муллонова, «Загадки карельской топонимики» Г.М. Керта, «Имя на карте Хабаровского края» Е.А. Бородиной, «Топонимика Якутии» Б. Сюльбэ, «Топонимический словарь Амурской области» Е.В. Сутурина, «Юкагирские топонимы» Ю.Г. Куриллова.

[Давыдова, 2003]. И даже такой оригинальный текст, как «Аборигенная (эвенская) топонимия Якутии» В.А. Кейметинова (Коегмэтти), не выходит за рамки сложившейся традиции, хотя и представляет несомненный интерес как попытка увидеть феномены культуры сквозь призму этимологических разысканий носителя языка. В размышлениях автора о «гуманистической направленности эвенской топонимии», «отражении духовности древних эвенов в топонимике» [Кейметинов, 1996, с. 165] прозвучала идея геокультурной идентичности, связанной с *местом*. Той же теме посвящены и «Мои топонимические размышления» К. Бельды, который через осмысление древних названий сел и стойбищ пытается воссоздать *свои места*, спасти то, что, потеряв исконные нанайские имена, «ушло в пучину лет, в небытие» [Бельды, 2007, с. 268].

Так сформировалась та тенденция, которая и воплотится в топонимике Ю. Вэллы, – создание геокультурного образа этнического *места* в глобальном мире, теряющем различия. Геокультурный образ репрезентативен потому, что является системой «наиболее мощных, ярких и масштабных геопространственных знаков, символов, характеристик, описывающая особенности развития и функционирования тех или иных культур» [Замятин, 2003, с. 71]. В автохтонных культурах он актуализован потому, что связан с именем и именованьем, которые в мифологическом мышлении структурируют смысл. Именно поэтому географические имена становились своеобразной осью пространственных ориентаций и самоопределений, а *своя* географии тесно увязывалась с этнической идентичностью. *Свое* место-пространство имеет свой «язык географических образов» и «любая <...> идентичность содержит в себе в той или иной мере, в открытых или скрытых формах географические образы», которые «могут достаточно полно, наиболее развернуто характеризовать цивилизационную идентичность в ее основных проявлениях, быть, по сути, ее ментальным ядром» [Замятин, 2014, 172].

С другой стороны, перед нами – «словарь». Какой бы прагматичной ни казалась эта форма дискурса, она является и семиотически, и семантически значимым культурным тестом, поскольку представляет категориально-понятийную и предметную сферу языковой картины мира в упорядоченном – алфавитном – порядке. Словари стали в XX веке и литературной формой

(«Хазарский словарь» М. Павича, «Азбука» Ч. Милоша). Сегодня актуальна идея создания словарей этнокультурных концептов, способных отразить глубинные структуры национальной ментальности. «Опыт топонимического словаря» Ю. Вэллы тяготеет к этому типу, поскольку для автора важно не просто указание на предмет-топоним и слово, его означающее, а на парадигму этноязыкового и этнокультурного смысла места-пространства бытия народа. Этот подход Ю. Вэлла уже использовал раньше в триптихе «Азбука для оленевода» («Поговорки оленевода», «Арифметику оленевода» и «Кое-что из “Сакральной азбуки”»), словарно фиксирующей ментальные «правила» бытия ненца, основанные на сакральной нумерологии и этике. Однако топонимический словарь автор выстраивает иначе. Он дан, во-первых, на трех языках – ненецком, хантыйском и русском, а значит – обращен в большой мир российской культуры. Во-вторых, словарь сопровождается разного рода вербальными комментариями, дополнительной информацией, рассказами, литературными отступлениями и экскурсами – самого автора, старших носителей культуры и языка, исследователей, писателей, туристов. Автор приводит, например, отрывки из дневников подростков, побывавших в этих местах («Из дневника Даши», «Из дневника Аэлиты») или фрагменты работ первых исследователей этнокультуры.

Представлены в отдельном разделе и все те, кто, так или иначе, принимал участие в создании даже и не самого словаря, а образа *места*. Все они – люди одной земли, хотя и разной этнической принадлежности, но главное для автора то, что они знают и помнят. Например: «Бабушка Ненги – мать моего отца. Основные детские воспоминания, сказки, легенды, былички о родственниках, живших раньше нас, истории, связанные с названиями речушек, заводей, стариц, островов, песков или бориков вдоль Варьёгана-реки, на которой я родился и провел детство – все это я получил от бабушки Ненги», «Айпин В. Р. – Виктор Романович – друг детства. Мы вместе: детский сад, начальная школа в Варьёгане, школа-интернат в Агане, охотничьи годы. Иногда мне кажется, создание топонимического словаря вовсе не моя идея, а его», «Атени (Татьяне) – названия многих

мест в нижнем течении реки Варьёган при работе над топонимическим словарем я уточнял у своей мамы» [Вэлла, 2012а, с. 140, 146].

Так обычно обезличенный «словарь» становится у Ю. Вэллы не только авторским (присутствие автора на страницах книги подчеркнуто), но и многоголосым, звучащим, живым. Таким же образом оживает и говорит каждый, казалось бы – безмолвный, топос, о котором идет речь в книге. Неслучайно Ю. Вэлла в своем словаре приводит тот отрывок из книги В.И. Сподиной «О чем твоя песня, Аули?», где речь идет о «живой карте земли» [Вэлла, 2012а, с. 10]. В книге о лесных ненцах, отразившей впечатления В.И. Сподиной от путешествия по их земле, приводятся и карты, и схемы. Но, по сути, речь идет все-таки о «живой карте земли» и о людях, которые сделали мир ненцев живым и подлинным для исследователя, прежде всего главный герой книги – хранитель древних традиций, старик-ненец Аули Иуси, который будет рассказчиком и в словаре Ю. Вэллы. «Не только названия на местности, – отметит автор, – но и некоторые истории связанные с этими названиями были поведаны им» [Вэлла, 2012а, с. 147]. Е. Тулуз, написавшая предисловие ко второму тому словаря Ю. Вэллы, верно уловила суть «словарных изысканий» писателя: «Данные, с которыми можно познакомиться благодаря этой книге, являются неписьменной историей бассейна реки Аган. Для приезжих, носящих культуру другого типа, тайга и болота – как бы пустое место, однако это трагическая ошибка. Сибирское пространство – это живое место, где человек присутствовал уже много столетий. Таежная культура не выражается письменно и не строит постоянных монументов. Она остается в памяти и передается из поколения в поколение в песнях, преданиях, топонимах. <...>. Читая эту книгу, мы узнаем о духовном богатстве обитателей этой земли, и “пустое” пространство оживляется» [Тулуз, 2012, 8-9].

Геокультурный образ, создаваемый автором, оказывается равнозначным сакрально-космическим представлениям предков. Ведь именно так в веках *свое* место-пространство и виделось человеку этнокультуры – как специально обозначенное и концептуально осмысленное в человеческом *Слове*. Сам процесс создания словаря не только из топонимов, но и из слов-свидетельств, слов-размышлений людей разных поколений оказывается восстановлением, возрождением *существующего* и *бытийного* целого культуры, в современности

забываемого. Например: «КАВ-ИКИ – дословно: Старец-камень. По малой воде торчит посреди реки огромный камень-валун. Этот камень способен очень точно предсказывать погоду. Когда предвидится ясная погода, камень имеет цвет «сой мохк» (яйцо гоголя), голубоватый оттенок. Перед пасмурной погодой – это обычный серый камень. Жители реки Нацк явун здесь проводили жертвоприношения» [Вэлла, 2012, 20]. Одновременно в рассказы о прошлой семантике *места* врывается современность – именно она беспамятна, но *место*, о котором идет речь, способно к запоминанию-рефлексии. Например: «КРЕСТЫ – Здесь вблизи своего летнего стойбища похоронен Покачев Семен Галактионович. Однажды зимой здесь “похозьяничала” техника нефтяников ЛУКОЙЛа и снесли могилку Семена. Потом родственники требовали восстановления могилки. Летом остатки могилки в сторону под дерево сложили и старый крестик прислонили к дереву. А на старом месте построили новый домик (охти кот). Сейчас зимой из-под снега торчат два креста – новый и старый, прислоненный к дереву. Поэтому теперь место захоронения Семена называют множественным числом КРЕСТЫ, а техника ЛУКОЙЛа объезжает это место стороной, словно здесь теперь для них аномальное место, – так смеется Покачев Иосиф Иванович, обитающий вблизи этого места» [Вэлла, 2012а, с. 131].

Восстановлению подлежит, по мысли автора, и лично-родовая принадлежность *места*, поэтому в его книге так много имен. Например: «ВЕДИ КОТЫЦ ЯХЫМ – дословно: *бор оленьего дома*. Сардаков Константин (Ай Пулыли, Капи Пусску), Сардаков Демьян (Чими) и другие их родственники здесь в летнее время держали оленей под дымокурор» или «Стойбище Айпина Николая Дмитриевича (Нюр-Ох) до 1985-87 гг. Здесь же жили семьи: Айпина Петра Николаевича (Петы, Петрушка), Айпина Виктора Романовича (Зять Сардаковский), Айваседа Антона Панкчевича (Аношка). Это стойбище также называли ГОРЕЛЬНИК. Вокруг этого стойбища археологические памятники от III–V века до н.э. Это значит, что здесь всегда жил человек» [Вэлла 2012: 68, 70]. Подчеркивает автор и свое присутствие в мире сородичей: «В десяти шагах от конторы ЦИТС (ЛУКОЙЛ) раньше было главное святилище реки ВАТЬЁГАН. Здесь зимой 1946 года <...> Тяпча (Айваседа Япча) шаманил и предсказал моим

родителям мое рождение и смерть моего отца. Он сказал дословно: “У вас будет мальчик. А дальше я вижу только женщину с люлькой. А потом мальчик будет кормовым (рулевым) в лодке красных”. Я несколько лет был секретарем комсомольской организации и членом райкома комсомола, вероятно, он это и имел в виду. На жертвоприношения сюда съезжались и ненцы, и ханты, и проездом жители ПЯКУ ТО и жители КОЛЕКЪЁГАНА. Я и сейчас, когда проезжаю через вахтовый поселок, здесь тайком бросаю монетку. И даже если эта монетка случайно падает со звоном на холодный асфальт, в моем воображении она падает на теплый ягель священного холма. И тогда я ясно слышу звон шаманского бубна Янчи. И тогда я мысленно запеваю его шаманскую песню» [Вэллы, 2012, с. 15].

Место в книге Ю. Вэллы сближается с человеком и его духовным миром, оно становится антропологичным, а человек соединяется с историей и судьбой своей земли, «родного места», обретает, пусть и мысленно, свой зримый и поименованный *locus patalis* как *locus amoenus*. «Топонимический словарь» – это малый космос, противостоящий возможному хаосу, о котором размышляет в своем стихотворении «Имена потерявшие земли» исследователь хантыйской культуры и поэт Т. Молданов, противопоставляя гармонию прошлого – «все с именем жило тогда», хаосу настоящего – «земель имена потерялись», «вод имена утекли» [Молданов, 2002]. Топонимика Ю. Вэллы и строится на мифологической сакральности имени как основе миропорядка: земля не должна и не может потерять имена, иначе она исчезнет из космической упорядоченности и обрушит космос этнического бытия. Именно поэтому автор, заявив в названии третьего тома тему «святилищ», отказывается говорить о них: ведь знание о святилищах тоже сакрально, но оно и тайно, а потому говорить о нем, размышляя на границе традиции и цивилизации, нельзя. Тайное знание – для *своих*, посвященных и приобщенных, живущих внутри этнокультуры, оно – сокровенное *место* этноса, его духовное пространство. Так мыслится в рамках традиционного этнокультурного мировоззрения онтология *места* – пространство бытия народа, его исконная родина как колыбель человека и культуры, «земля, где качалась колыбель» ребенка [Шесталов, 1997, I, с. 228], а «детская люлька-колыбель, –

подчеркивает Ю. Вэлла в «Сакральной азбуке», – не продается» [Вэлла, 2007, с. 78].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Айпин, Е.Д. Клятвопреступник. Избранное: Роман и рассказы / Е.Д. Айпин. – Москва: Наш современник, 1995. – 432 с.

Айпин, Е. Д. Обреченные на гибель: Публицистика последних лет / Е. Д. Айпин. – Москва: Нефть и газ, 1994. – 109 с.

Айпин, Е.Д. Собр. соч.: в 4 т. / Е.Д. Айпин. – Санкт-Петербург: Амфора, 2014.

Бельды, К. Предания земли нани: Повесть, рассказы, легенды, были, топонимические размышления / К. Бельды. – Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2007. – 400 с.

Варламова, Г.И. Мировоззрение эвенков: Отражение в фольклоре / Г.И. Варламова. – Новосибирск: Наука, 2004. – 185 с.

Волдина, Т.В. Представления о перевоплощении душ в традиционной культуре Кызымских хантов (проблемы записи и интерпретации сакральных сведений) / Т.В. Волдина // Этнографическое обозрение. – 2010. – № 3. – С. 32-43.

Вэлла, Ю.К. Вести из стойбища. Стихотворения / Ю.К. Вэлла. – Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1991. – 96 с.

Вэлла, Ю.К. Белые крики – книга о вечном / Ю.К. Вэлла. – Сургут: Северный Дом, 1996. – 165 с.

Вэлла, Ю.К. Река Аган со притоками: Опыт топонимического словаря. Бассейн реки Аган. Ч. 1: Топонимика вдоль русла реки Аган / Ю.К. Вэлла. – Ханты-Мансийск: Информ.-издат. центр Югорского государственного университета, 2010. – 147 с.

Вэлла, Ю. К. Река Аган со притоками: Опыт топонимического словаря. Бассейн реки Аган. Ч. 2: Топонимика притоков реки Аган / Ю.К. Вэлла. – Ханты-Мансийск: Доминус, 2012. – 187 с.

Вэлла, Ю. К. Река Аган со притоками: Опыт топонимического словаря. Бассейн реки Аган. Ч. 3: Дороги, населенные пункты, святилища, аномальные места в бассейне реки Аган / Ю.К. Вэлла. – Ханты-Мансийск: Юграфика, 2012. – 151 с.

Головнев, А. В. «Свое» и «чужое» в представлениях хантов / А.В. Головнев // Обские Угры (ханты и манси): Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. 7. – Москва: Наука, 1991. – С. 187-224.

Давыдова, Т.В. Топонимика северных народов Сибири и Дальнего Востока России: Историографический аспект. Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Т.В. Давыдова. – Санкт-Петербург, 2003. – 22 с.

Динисламова, С.С. Религиозно-философские аспекты творчества Ювана Шесталова / С.С. Динисламова // Вестник Югорского государственного университета. 2009. Вып. 1 (12). – С. 9-18.

Замятин, Д.Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов / Д.Н. Замятин. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2003. – 332 с.

Замятин, Д.Н. Геокультурное пространство России: ключевые положения, интерпретации и перспективное геокультурное проектирование / Д.Н. Замятин // Развитие и экономика. Альманах. – № 10. Июнь. – 2014. – С. 170-182.

Кейметинов, В.А. Аборигенная (эвенская) топонимика Якутии / В.А. Кейметинов. – Якутск: Изд-во «Мирнинская городская типография», 1996. – 186 с.

Кривошапкин, А. Священный олень. Этнографические поэмы / А. Кривошапкин. – Якутск: Книжное изд-во «Бичик», 2008. – 64 с.

Лагунова, О.К. Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней трети XX века (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги). Монография / О.К. Лагунова. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2007. – 260 с.

Леви-Строс, К. Первобытное мышление / К. Леви-Строс. – Москва: Республика, 1994. – 384 с.

Молданов, Т. Имена потерявшие земли / Т. Молданов // Поэзия народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России. – Москва: Северные просторы, 2002. – С. 45.

Молданова, Т. Касания цивилизации / Т. Молданова // Мир Севера. – 1997. – № 3. – С. 50-63.

Немтушкин, А. 1991 Всадники на оленях. Публицистические очерки / А. Немтушкин. – Красноярск: Книжное издательство, 1991. – 80 с.

Одулок Т. На Крайнем Севере / Т. Одулок // Под полярным созвездием. – Якутск: Якутское книжное издательство, 1987. – С. 96-236.

Рябий, И.Г. Образ Ханты-Мансийска в творчестве писателей Югры / И.Г. Рябий // Вестник угроведения. – 2012. Вып. 1 (24). – С. 100-104.

Смирнов, И.П. Текстомахия: как литература отзывается на философию / И.П. Смирнов. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2010. – 208 с.

Суздалова, Н. Там, где сливаясь, шумят струи Россошино и Сусвэй / Н. Суздалова // Ительменская литература: Материалы и исследования. – Москва: Литературная Россия, 2011. – С. 286-293.

Тулуз, Е. Сибирь – это живое место, где человек присутствовал всегда / Е. Тулуз // Вэлла Ю.К. Река Аган со притоками: Опыт топонимического словаря. Бассейн реки Аган. Ч. 2: Топонимика притоков реки Аган. – Ханты-Мансийск: Доминус, 2012. – С. 8-10.

Уигет, Э. Последняя весть со стойбища Юрия Вэлла / Э. Уигет // Литературная Россия. – 2013. 20 сентября (№ 38). – С. 6.

Шесталов, Ю. Собр. соч.: в 5 т. / Ю. Шесталов. – Санкт-Петербург; Ханты-Мансийск: Фонд космического сознания, 1997.

Хазанкович, Ю.Г. Культура народов циркумполярной зоны: особенности формирования «первичного» мышления / Ю.Г. Хазанкович // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1. – С. 53-60.

Ханькан, К. Живой поток. Рассказы. Легенды и предания земли эвенской / К. Ханькан. – Магадан: Новая полиграфия, 2007. – 178 с.

Харючи, С.Н. Север – это не Запад... и не Восток / С. Н. Харючи // Попков Ю. В., Тюгашев Е.А. Философия Севера: коренные малочисленные народы Севера в сценариях мироустройства. – Салехард; Новосибирск: Сибирское научное изд-во, 2006. – С. 15-17.

АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ

М.В. Строганов¹

Центр краеведения и этнографии Московского государственного университета дизайна и технологии

ДВА ТВЕРСКИХ ЧИНОВНИКА М.Е. САЛТЫКОВ И Н.И. РУБЦОВ. ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ²

Отношения М.Е. Салтыкова и Н.И. Рубцова анализируются в свете их политических позиций, при этом позиция Рубцова реконструируется на основании косвенных данных. Отношения Салтыкова и Рубцова отразились в книге очерков В.А. Слепцова «Письма об Осташкове».

Ключевые слова. М.Е. Салтыков, Н.И. Рубцов, В.А. Слепцов, статистика, этнография, очерки

M.V. Stroganov

Center of local history and ethnography, Moscow State University of Design and Technology

TWO OFFICIALS FROM TVER – M. E. SALTYKOV-SHCHEDRIN AND N. I. RUBTSOV: RECONSTRUCTION RESULTS

Relations between M. E. Saltykov and N. I. Rubtsov are analyzed in the article in the light of their political standing, N. I. Rubtsov's views are reconstructed on the basis of indirect data. The relations between Saltykov and Rubtsov were reflected by V. A. Sleptsov in his book of essays "Letters on Ostashkov".

¹ Михаил Викторович Строганов, доктор филологических наук, профессор, директор научно-исследовательского Центра краеведения и этнографии Московского государственного университета дизайна и технологии, mistro@rambler.ru.

² Исследование выполнено по гранту РГНФ, проект «М.Е. Салтыков-Щедрин и его современники» (№ 15-04-00389а).

Key words: M. E. Saltykov, N. I. Rubtsov, V. A. Sleptsov, statistics, ethnography, essays.

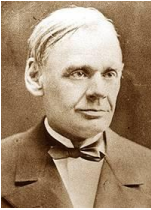
Настоящая статья имеет одну цель, но, как медаль, с двумя сторонами.

Первая сторона лицевая и очевидная – это историческое выяснение отношений тверского вице-губернатора Салтыкова и Н.И. Рубцова, чиновника из его окружения. Поскольку сведения о Рубцове немногочисленны и фрагментарны, собирание их и создание из них достаточно определенного портрета представляет известную трудность, хотя только при наличии этого портрета можно реконструировать отношения Рубцова и Салтыкова. Эта лицевая сторона нашей цели важна, однако по причине «малозначительности» личности Рубцова она может показаться частной и имеющей, так сказать, краеведческий характер. Именно поэтому мы хотим обратить внимание на оборотную сторону цели статьи, которую можно назвать методологической. Эта сторона состоит в определении значения любой (принципиально любой) личности, с которой сталкивается крупный исторический деятель. Можно ли назвать мелкой, малозначительной личностью человека, который попал в поле зрения крупного деятеля и так или иначе отразился в деятельности этого последнего?

Позволим себе привести несколько условный пример. Если в поле зрения писателя Салтыкова попал реальный помещик Иудушка Головлев, и писатель написал его портрет, – можем ли мы считать этого реального помещика (ужасного, вызывающего отвращение) – мелким и малозначительным? Нам возразят, что писатель образ Иудушки не является портретом, что писатель обобщил в нем большое социальное явление. Приведем тогда пример из другого искусства. Всем хорошо известны портреты, созданные В. Серовым. Кому принадлежит психологическая глубина этих портретов? То ли она полностью выдумана художником, то ли хотя бы в известной мере принадлежит и портретируемым лицам? Едва ли стоит давать ответ на этот вопрос не только в начале, но и в конце статьи, ибо дело не в решении вопроса, которое в принципе невозможно, а в правильной

постановке его, которая обязательна для каждого гуманитарного исследования.

Николай Иванович Рубцов, родивший в Твери 3 октября 1825 г., был почти ровесник Салтыкова, который родился в селе Спас-Угле примерно через четыре месяца, 26 января 1826 г. Родился Николай Иванович в семье чиновника И.В. Рубцова, служившего в канцелярии тверского губернатора К.Я. Тюфяева (1831-1834). В его формулярном списке в графе о происхождении значилось: «из обер-офицерских детей». Как справедливо пишет биограф Рубцова, «так обыкновенно было принято в то время называть молодых людей, служивших в разных городских канцеляриях и не желавших почему-либо точно обозначать свое звание, обыкновенно детей разночинцев, крестьян, мещан и церковников» [Рубцов М.В., 1920, с. 5-6]¹.



М.В. Рубцов не уточняет, из какой именно среды происходили Рубцовы, но мы можем почти определенно утверждать, что это была церковная среда, поскольку в Твери было несколько других известных священнослужителей с этой фамилией. [См.: За отличную и ревностную службу лиц. 1862, с.

¹ Это единственная работа, которая посвящена специально Н.И. Рубцову и имеет исследовательский характер. При сообщении биографических сведений о тверском периоде М.В. Рубцов опирается на формулярный список Н.И. Рубцова, а о событиях его жизни с конца 1860-х гг. рассказывает по устным преданиям тверяков. Все сообщаемые им сведения в настоящее время без ссылок используются другими авторами. Мы также не ссылаемся на его брошюру и приводим ссылки только в тех случаях, когда опираемся на другой источник информации. Современная литература о Н.И. Рубцове в тверской периодике почти всегда опирается на основательную работу М.В. Рубцова. Но поскольку сведения этого автора не проверяются другими документами, оценкам по большей части не хватает критичности; см.: Сергеев Илья, 2012; Ульянов Андрей, 2013; Ульянов Андрей. Б. д.

426 (награжден камилавкою священник Николаевской церкви Твери Василий Рубцов); Высочайшая награда, 1871, с. 521].

Рубцов с отличием окончил тверскую гимназию (1842) и поступил в Московский университет. Но курса он не завершил (по официальной версии, по состоянию здоровья, но скорее всего из-за финансовых проблем) и с 1845 г. служил в Твери при губернаторах А.П. Бакуanine (1842-1857), графе П.Т. Баранове (1857-1862), князе П.Р. Багратионе (1862-1868). Рубцов был старшим помощником правителя канцелярии Бакунина (1842-1857) и одновременно служил старшим секретарем губернского правления (с 1853), а по назначению П.Т. Баранова и в Тверском губернском статистическом комитете без освобождения от прежних обязанностей (с 1857). Но 7 марта 1861 г. он был освобожден от должности старшего секретаря губернского правления в связи с назначением на должность секретаря губернского по крестьянским делам Присутствия с причислением к канцелярии начальника губернии. В 1860-е гг. Рубцов периодически исполнял обязанности вице-губернатора, в 1866 г. он состоял старшим советником губернского правления, а в 1868 г. – советником трех распорядительных отделений. При столь многочисленных и видных служебных местах, к концу своей службы в Твери Рубцов имел сравнительно невысокий чин VII класса – надворного советника. Но когда в 1868 г. князь П.Р. Багратион был переведен из Твери на должность гражданского губернатора Вильны при генерал-губернаторе А.Л. Потапове, он предложил Рубцова на должность вице-губернатора в Ковно (современный Каунас). На прощальном обеде, который состоялся 1 апреля 1869 г. в Тверском благородном собрании, Ф.Н. Глинка прочитал посвященные Рубцову стихи:

Что сгрустились сердца?
Что случилось у нас?
Ах, у нас из венца
Укатился алмаз...
И любимец дворян, и крестьян, и купцов,
И товарищ, и друг,
И работник повсюду *за двух*,
Уезжает из Твери *Рубцов!*..

Уезжает для высших он целей;
Но всё ж грустно, что сети чужих рыбаков
Выловляют из наших садков
На отбор стерлядей да форелей!..
Но судьбу не судить!
Что сбылось, тому быть!
А в подкрепу радушного слова
Поспешим мы бокал свой налить
И *зздравный* высоко вознестъ
Как бокал, напеняемый в честь
Дорогого для Твери Рубцова! [Рубцов М. В., 1920, с. 15-16]

Однако 22 сентября 1868 г. князь Багратион занял должность Лифляндского, Курляндского и Эстляндского генерал-губернатора, а Рубцов, в свою очередь, переехал в Вильно в качестве управляющего канцелярией Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора А.Л. Потапова. Кроме этого Рубцов был директором канцелярии губернатора, управляющим политического отделения генерал-губернатора, занимая и другие важные должности. С чином тайного советника (чиновник III класса) он вышел в отставку и в течение 6 лет был городским головой Вильны. За свою службу Рубцов был награжден орденами Станислава II степени, Анны II степени, Владимира III и IV степеней. В 1874 г. он получил в собственность имение Карповичи (Карповец) в Белостокском уезде Гродненской губернии и был внесен со своим родом в дворянскую родословную книгу. Несомненно, что все эти награды Рубцов получил за проведение государственной политики по русификации западных областей; и особо здесь следует отметить поощрение недвижимостью, столь редкое для конца XIX в. В самом Вильно он имел дом и участок земли на Ботанической улице (район Ботанического сада?).¹ Здесь он и

¹ Литовский государственный исторический архив ((Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Фонды Каунасского уездного архива. Ф. 1345. Личный фонд Н. И. Рубцова, управляющего канцелярией Виленского генерал-губернатора. Оп. 1. 1861-1897-1909. 31 дело. Благодарю А.И. Федуту и Н.А. Морозову, при любезной помощи которых мне стали известны материалы этого фонда. По материалам этого фонда впервые устанавливается точная дата смерти Н.И. Рубцова (ранее всегда указывался только год смерти).

умер 9 ноября 1895 г., и похоронен на Евфросиньевском кладбище [Савицкий Лев, 1938].

Нас в данном случае интересует, конечно, тверской период, с 24 июня 1860 по 19 апреля 1862 г., когда Рубцов и Салтыков постоянно встречали друг друга, живя в одном городе.¹ При этом мы не имеем фактического материала взаимных оценок и характеристик, поэтому в своей реконструкции отношений должны опираться только на косвенные данные.

Несомненно, что Салтыков, став вице-губернатором Твери, сразу же должен был познакомиться с Рубцовым. Дело в том, что Салтыков был фактическим председателем губернского правления (официальным был губернатор), а Рубцов – старшим секретарем [Памятная книжка. 1861, с. 2]. Кроме того, оба они были членами губернского статистического комитета, где Рубцов числился «исполнителем работ», то есть делопроизводителем и секретарем [Памятная книжка. 1861, с. 10]. Помимо этого, Баранов 28 декабря 1860 г. предложил Салтыкову стать членом присутствия по крестьянским делам; тот согласился при условии сохранения «должности тверского вице-губернатора». Баранов рекомендовал 11 января 1861 г. кандидатуру Салтыкова министру внутренних дел, и хотя Салтыкова не утвердили в этой должности, ему разрешили посещать заседания без права голоса [Салтыков М.Е. 1965-1977, Т. 18-

1. Награждение орденами, переписка с Варшавским, с Виленским, Ковенским и Гродненским генерал-губернаторами, Виленским городским головой, географическим и минералогическим обществами, назначение управляющим политического отделения Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора, внесение фамилии Рубцовых в дворянскую родословную книгу, командировки в Белосток и Петербург, избрание членом уездных училищных советов и географического общества. 1861-1862.

2, 4, 5. Имущественные дела по дому и участку земли в Вильно. 1871-1893.

3, 6-10. Имущественные дела по имению Карповичи (Карпинец). 1874-1897.

11. Завещание Н.И. Рубцова. 9 ноября 1895.

12-31. Жена А.С. Рубцова. Дети С.Н. Борзенко, Л.Н. Кулаковская, Н.Н. Рубцов. См. также: ЦГИА БССР (Гродно). Ф. 863. 31 ед. хр., 1861-1909.

¹ Наиболее полное освещение этого периода в жизни Салтыкова см.: М.Е. Салтыков и Тверской край. 2009. С. 235-315.

1, с. 234]. Рубцов же 7 марта 1861 г. был назначен секретарем этого присутствия, в связи был освобожден от должности старшего секретаря губернского правления, то есть от подчинения вице-губернатору Салтыкову. Итак, во всех этих трех административных структурах Рубцов и Салтыков неизбежно встречались на заседаниях. Более того, Салтыков как фактический председатель губернского правления и Рубцов как старший секретарь его просто вынуждены были находиться в постоянном контакте. Это отразилось в редких специальных отметках. В частности, 22 февраля 1861 г. Салтыков подписал постановление губернского правления о том, что за халатное исполнение своих обязанностей исправнику Вельеговского уезда, который своевременно не обратил внимания на беспорядки в имениях помещиков Савельева и Черткова, был «сделан выговор с запискою в штрафную книгу». А в скобках к этому месту сделано примечание: «уведомить о сем стар<шего> секр<етаря>» (цит. по: [Князев И. В., 1969, с. 135]).

Но помимо встреч на служебном поприще, Рубцов и Салтыков могли встречаться и на поприще общественном. Вскоре после приезда Салтыкова в Тверь губернатор Баранов как председатель попечительского комитета недавно открытой Тверской публичной библиотеки предложил ему войти в состав комитета, и Салтыков принял это приглашение [Документальные материалы. 1961, с. 22-23]. Рубцов же был инициатором создания библиотеки и распорядителем ее средств в первое время ее существования (в Государственном архиве Тверской области хранятся документы, связанные с этой деятельностью) [При устройстве библиотеки. 1995, с. 5-19], поэтому и в этой сфере они могли встречаться. Здесь следует заметить, впрочем, что эта деятельность Рубцова подчас уходит в тень рядом с именами купца А.Ф. Головинского, оказавшего финансовую поддержку проекту, и Салтыкова, споспешествовавшего получению положения о библиотеке из Рязани, где таковая была уже открыта.

Однако, повторим, никаких сведений об этих встречах у нас нет: мы не знаем ни отзывов Рубцова о Салтыкове, ни высказываний Салтыкова о Рубцове. Мы можем только предположить, что каждый из них ценил в другом добросовестное отношение к службе, но дальше этого все наши предположения становятся крайне гипотетичными. Трудно сказать, как относился Рубцов к той исключительной энергии,

с которой Салтыков осуществлял правовую защиту крестьян, поскольку его собственные суждения о помещичьем произволе нам неизвестны. Более того, поскольку Рубцов не был землевладельцем и не имел крепостных, поэтому мы не знаем его отношения к крестьянской реформе 1861 г.

Первые выявленные нами публикации Рубцова относятся к 1859 г. Эти очерки: «Новый дом тверской гимназии и освящение его» [Р.Н. 1859. 10 октября, с. 129-130] и «Тверская хроника» [Р-в Н. 1859. 17 октября, с. 130-131], в которой описывалось освещение улиц Твери спирто-скипидарною жидкостью, – могли вызвать скорее критическую насмешку Салтыкова, который всегда резко негативно относился к тому, когда жители прочувствованно воспевали успехи местной администрации. Салтыков признавал достоинств нового здания тверской гимназии, но он прекрасно помнил, сколько средств было потрачено впустую (если не разворовано) в течение того долгого времени, когда это здание строилось, и не считал возможным радоваться и проходить молча мимо этих фактов небрежности и хищений.

Другое дело, что Салтыков должен был заинтересоваться литературно-общественной и исследовательской деятельностью Рубцова в области статистики и этнографии, которая была связана с его службой в Тверском губернском статистическом комитете. Эта служба предопределила и общественную деятельность Рубцова. Здесь же следует отметить, что в последний год своей жизни в Твери, в 1868-1869 гг. он участвовал в переписи ее жителей.

Вполне закономерно, что «Памятные книжки Тверской губернии» на 1863, 1865 и 1868 гг. выходили именно под редакцией Рубцова: статистическая информация составляла главное содержание этих выпусков. Но для сбора этой информации Рубцов совершал поездки, во время которых знакомился с общественной и экономической жизнью губернии, с бытом и нравами, культурой, языком разных уездов. Поэтому столь же закономерен его интерес к прошлому, так как понимание современного экономического состояния того или иного региона предполагало знание его предыстории (это отчасти отразилось в его очерках). Но, интересуясь прошлым, Рубцов во время своих поездок в 1860-е гг. не мог не

собирать этнографические материалы, которые и составили впоследствии основу экспозиции Тверского музея, 9 августа 1866 г. открывшегося в помещении тверской мужской гимназии. Поскольку именно его коллекция легла в основу экспозиции музея, Рубцова принято считать его создателем [О Тверском музее. 1880, с. 5. Перепечатка статьи из «Тверского вестника»], хотя при этом подчеркивается и роль А.К. Жизневского.

В случае с музеем мы видим тот же сценарий, что и в случае с библиотекой. Рубцов был активным деятелем, собирателем материалов, но его социальное положение не позволяло ему стать на видное место при осуществлении проекта. Как и в своей чиновничьей карьере, в общественных проектах он оставался делопроизводителем и казался простым делопроизводителем чужих идей и затей. Хотя на самом деле роль его (во всяком случае в общественных проектах) была гораздо более значимой, нежели кажется с первого взгляда.

Главными в литературном наследии Рубцова являются разные по объему очерки пяти уездных городов Тверской губернии: Ржева (с элементами путевого очерка) [Р-в Н. 1859. 31 октября, с. 141-144; Р-в Н. 1859. 7 ноября, с. 156-159; Р-в Н. 1859. 28 ноября, с. 160-162], Осташкова [Рубцов Н. 1861. 4 ноября, с. 200-203; Рубцов Н. 1861. 11 ноября, с. 204-208; Р-в Н. 1863. 15 апреля, с. 32-41; Р...в Н. 1863. 27 апреля, с. 48-50; Р...в Н. 1863. 4 мая, с. 51-53; Р-в Н. 1863. Отд. 3, с. 119-190. Дата: Январь 1863 г.; Р-в Н. 1913, с. 39-47 (перепечатка: Р-в Н. 1863. Отд. 3, с. 178-185)], Торжка [Р-в Н. 1865. Дата: 1864 г.], Кашина [Р-в Н. 1868. Дата: 1867 г. Сентябрь] и Старицы [Р-в Н., 1880]. Рубцов подписывал свои работы псевдонимами Н. Р-в и Н. Р...в, но это никого не обманывало; например, И.И. Кольшко в своем путешествии неоднократно называет автора «Очерка Осташкова» господином Р-цовым [Кольшко И.И., 1887, с. 205-211, 220, 235],¹ а

¹ Кроме «Очерка Осташкова», Кольшко широко использовал и «Очерк Торжка» и целыми страницами списывал у Рубцова характеристики этих городов. Из травелога Кольшко, впрочем, не ясно, осознавал ли он, что автором обоих очерков является один и тот же человек. Описание Ржева, которое было опубликовано только в «Тверских губернских ведомостях», Кольшко, очевидно, просто не знал. Кашин и Старицу он не посещал и не описывал, поэтому о знакомстве его с этими очерками мы судить не можем.

М.В. Рубцов прямо пишет об этих очерках как о принадлежавшем Н.И. Рубцову. Однако один раз (при первой газетной публикации об Осташкове) Рубцов подписался полным именем, и внимательный читатель мог самостоятельно идентифицировать личность автора.

Все очерки начинаются с краткого обозрения истории города от времен основания до конца царствования Екатерины II. Во второй, самой большой части каждого очерка описывается состав и численность населения, культовые учреждения, климатические условия, промыслы и промышленность, медицинские, благотворительные, образовательные и культурные учреждения. А в самом конце каждого очерка даны краткие этнографические зарисовки: традиции и обряды Ржева, Осташкова, Торжка, Кашина и Старицы. Надо заметить, что очерки традиционной культуры занимают у Рубцова второстепенное место: для него это дополнительная и не вполне обязательная (скорее даже рекреационная) информация. Более того, в очерке о Торжке Рубцов приводит обширную цитату из путевых записок П.И. Небольсина о нравах молодежи города [Небольсин П.И., 1850, с. 10-16], поскольку его собственные наблюдения уже не дают этого материала. Сам Рубцов описывает только свадебные обряды Осташкова и Торжка, впрочем, довольно подробно и детально чины свадебного поезда и блюда свадебного стола. Однако лишь в очерке об Осташкове он приводит тексты двух свадебных песен княжьего стола, несколько причитаний невесты и два текста, исполняемые нищими паломниками, которые следует отнести, очевидно, к прихрамовому фольклору. В очерке Кашина Рубцов ссылается на замкнутость местного населения как на причину недоступности фольклорно-этнографического материала, зато очень подробно описывает костюм городского населения (женский и мужской), чем восполняет недостаток известных книг Ф.Г. Солнцева, в которых кашинский народный костюм вообще не представлен [Древности Российского государства. 1851; Солнцев Ф.Г., 1869].

Салтыков, возможно, ценил статистические занятия Рубцова. Но для понимания истинного отношения Салтыкова к Рубцову следует учесть один очень важный факт, к которому мы теперь и обратимся.

Обычно считается, что очерки В.А. Слепцова «Письма об Осташкове» были написаны в ответ на панегирические статьи об осташковских городских учреждениях. При этом исследователи называют только одну такую панегирическую статью – о пожарной команде (Московские ведомости. 1860). Сам Слепцов в записной книжке в качестве источников называет две публикации (но не «Московские ведомости» 1860 г.): [Ст-жо Е. 1840; Отчет. 1861]. А существовали ли еще и другие статьи – неизвестно. Между тем первый очерк Рубцова об Осташкове «Записка о промышленности города Осташкова» появился в печати 4 и 11 ноября 1861 г., когда Слепцов уже, возможно, активно собирал материал в Осташкове. Однако Салтыков, который с 1860 г. был уже тверским вице-губернатором и который по обязанности подписывал «Тверские губернские ведомости» к печати, мог знать материал Рубцова и ранее. Кстати, именно он подписал и номер с материалом [Отчет. 1861].

И обычно же все исследователи пишут, что Слепцов отправился в Осташков по рекомендации редакции «Современника». Но кто из людей, причастных к «Современнику», лучше других мог знать реальную ситуацию в Осташкове? Конечно же, Салтыков. Как известно, Салтыков 2-7 ноября 1861 г. посетил Петербург для объяснений с руководителями «Современника» (Н.А. Добролюбовым, Н.Г. Чернышевским, Н.А. Некрасовым и И.И. Панаевым) по поводу подозрений в причастности к установлению властями авторов прокламации «Великорусс» («Обручевская история») [Макашин С., 1972, с. 373-383]. И именно в это время Салтыков и мог рассказать в редакции «Современника» об Осташкове, о котором сам он не имел возможности писать в той документальной манере, которая требовалась в данном случае, поскольку служил еще в Твери. Слепцов же был в Осташкове по заданию «Современника» глубокой осенью и зимой этого года [После 19 февраля 1861 г. 1963. С. 279], сразу после приезда в Петербург Салтыкова. Думается, что связь этих фактов друг с другом очевидна.

Учитывая это, мы лучше понимаем, что имел в виду Салтыков в статье «Несколько полемических предположений. Из письма в редакцию», когда писал о методе сбора материала, который Слепцов применил в «Письмах об Осташкове». В это время Салтыков уже расстался с тверским вице-губернаторством и мог позволить себе

полную откровенность: «Посредством болтовни можно восстановить физиономию не только известного лица, но даже целого города, целого общества. Прочитайте, например, в „Современнике“ „Письма об Осташкове“. По-видимому, там нет ни таблиц, наполненных цифрами, ни особенных поползновений на статистику; по-видимому, там одна болтовня. Люди закусывают, пьют ужаснейшую мадеру, несут великий вздор о старинных монетах и жетонах; однако за всей этой непроходимой ахинеёй читателю воочию сказывается живая жизнь целого города с его официальной приглаженностью и внутреннею неумытостью, с его официальным благосостоянием и внутреннею нищетою и придавленностью...» [Салтыков М.Е. 1965-1977, Т. 5, с. 265]. В этом пассаже Салтыков со всей очевидностью противопоставляет «беллетристическую» манеру Слепцова «статистической» манере Рубцова, в очерках которого есть и «таблицы, наполненные цифрами», и «особенные поползновения на статистику», но нет противопоставления «официальной приглаженности и внутренней неумытости», «официального благосостояния и внутренней нищеты и придавленности».

Справедливости ради следует сказать, что Рубцов не ограничивался официальной статистикой и достаточно часто дополнял ее сведения «внутренней» информацией, полученной в процессе «болтовни». Таковы, в частности, критические оценки богоугодных и сиропитательных учреждений Осташкова. Приведя таблицу смертности детей в осташковском приюте для малолетних, Рубцов писал: «Эти цифры <...> ясно показывают, до какой степени велика смертность в осташковском сиротском доме, но признаемся, мы имеем основание думать, что эти цифры далеко недостоверны. Во время посещения сиротского дома мы видели там до восьми грудных детей и только шесть подростков; частные отзывы говорят, что за весьма редкими исключениями все поступающие в сиротский дом дети умирают; это же самое подтвердила взятая врасплох и жена смотрителя дома, на которую возложен преимущественно надзор и попечение о малолетних. Тяжело становится при взгляде на этих несчастных детей, которые заранее осуждены на смерть и могут спастись от нее каким-то чудом» [Р...в Н. 1863. 4 мая, с. 52]. Этот эпизод очень близок к тому проекту постановления губернского

правления о положении дел в Кашинском сиротском доме, который написал Салтыков: «Смертность столь значительная, что невольным образом обращает на себя внимание, ибо, по собранным сведениям, количество поступающих ежегодно в сиротский дом младенцев почти всегда равняется количеству младенцев умирающих, а иногда последнее даже превышает первое» [Журавлев Н.В., 1961, с. 134-135; Князев И.В., 1969, с. 148]. Салтыков должен был признать полную справедливость Рубцова, который писал, что «главную, если не исключительную роль» в этой смертности играет «недостаток попечения о детях и полнейшее к ним равнодушие. У нас, по обыкновению, достаточно только позаботиться, чтобы было благотворительное заведение, приличное городу, и отпускать на содержание его деньги, а до того: выполняет ли вполне это заведение свое назначение – и дела нет» [Р...в Н. 1863. 4 мая, с. 52].

Но далее Рубцов приступал к изложению своей положительной программы, к программе преобразований. Он предлагал увеличить число кормилиц, сделать поступление детей в сиротский дом более открытым и считал, что этих мер будет вполне достаточно для решения замеченных проблем, поскольку в Осташкове «на каждом шагу видна попечительность и забота о благоустройстве» [Р...в Н. 1863. 4 мая, с. 53]. Совершенно ясно, что Салтыков эти предложения должен был признать прекраснодушными мечтаниями и высмеять их. Там, где Рубцов подчеркивал «попечительность и заботу о благоустройстве», там Салтыков обнаруживал и обнажал перед другими их отсутствие, и потому он должен был считать критику Рубцова беззубой и недейственной. С точки зрения Салтыкова, эти меры могли привести только к «официальной приглуженности», к «официальному благосостоянию», но для того, чтобы избавиться от «внутренней неумытости», от «внутренней нищеты и придавленности», этих мер было явно недостаточно.

В этом смысле следует обратить внимание на то стихотворение Глинки, которое он написал на отъезд Рубцова из Твери. Глинка и Салтыков были в Твери лидерами полярных литературно-политических лагерей [Строганов М.В., 2009, с. 8-26], поэтому высокая оценка Глинки предполагала прямо противоположную оценку Салтыкова. Да и в целом пафос Рубцова, либо нейтральный, либо восторженно одический, не соответствовал

отношению Салтыкова к тем острым социальным проблемам, которые со всей неизбежностью вставали за статистическими таблицами Рубцова об оплате труда крестьян и фабрично-заводских рабочих.

Итак, мы попытались показать, что знакомство с Рубцовым и его сочинениями подтолкнуло Салтыкова подсказать редакции «Современника» командировать в Осташков Слепцова, что привело к появлению интереснейшего документа эпохи – книги «Письма об Осташкове». Уже поэтому личность Рубцова имеет общественный интерес. Но наша статья построена... одни скажут: на догадках; другие возразят им: на сопоставлении и связи фактов. Для того чтобы опровергнуть наше построение, следует построить новое. А до той поры наше построение следует признать работающим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Высочайшая награда орденом Тверской духовной консистории столоначальника, коллежского асессора Арсения Рубцова // Тверские губернские ведомости. – 1871. – № 89. Часть официальная. – С. 521.

Документальные материалы Государственного архива Калининской области о М.Е. Салтыкове-Щедрине: Перечень дел и документов / Сост. В.Д. Чернышов. – Калинин: Калининское кн. изд-во, 1961. – 39 с.

Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I / Рисованы академиком Ф. Солнцевым. – Москва, 1851. Вып. 4: Древние великокняжеские, царские, боярские и народные одежды, изображения и портреты. – 88 с.

Журавлев, Н.В. Салтыков-Щедрин в Твери. 1860-1862 / Редакция, биографическая справка и вступительная статья Н.В. Яковлева Н.В. Журавлев. – Калинин: Калининское кн. изд-во, 1961. – 215 с.

За отличную и ревностную службу лиц Тверской епархии по военному и гражданскому ведомствам: Награды // Тверские губернские ведомости. – 1862. – № 28. Часть официальная. – С. 426.

Князев, И.В. М.Е. Салтыков-Щедрин в Твери (1860-1862 гг.): Летопись служебной деятельности / И.В. Князев // Учен. зап.

Астраханского гос. пед. ин-та. Т. 27: Вопросы литературы и журналистики. – Астрахань, 1969.

Кольшко, И.И. Очерки современной России / И.И. Кольшко. – Санкт-Петербург: Тов-во «Общественная польза», 1887. – С. 1-240.

Макашин, С. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850-1860-х годов: Биография / С. Макашин. – Москва: Художественная литература, 1972. – 600 с.

Небольсин, П.И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул / П.И. Небольсин. – Санкт-Петербург: Тип. Глазунова, 1850. – С. 10-16.

О Тверском музее // Тверские губернские ведомости. – 1880. – № 33. Часть неофициальная. – С. 5.

Отчет Осташковского общественного банка Савина за 1860 год // Тверские губернские ведомости. – 1861. – № 13. 1 апреля. Часть официальная. Отдел второй. – С. 170-172.

Памятная книжка Тверской губернии на 1861 год. – Тверь: Тверской губернский статистический комитет; Тип. Губернского правления, 1861. – 336 с.

После 19 февраля 1861 г. <«Я хочу сообщить вам...»> / Публикация Л.А. Евстигнеевой, Д.М. Климовой и М.Л. Семановой // Литературное наследство. – Т. 71: Василий Слепцов: Неизвестные страницы. – Москва: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 277-285.

При устройстве библиотеки в Твери господствовала самая дельная, самая разумная мысль... (К 135-летию Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького) // Из истории тверских библиотек. – Тверь, 1995. Вып. 1. – С. 5-19. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.litkarta.ru/russia/tver/institutions/gorky-library/>.

Рубцов, М.В. Краткие сведения об основателе Тверского музея Николае Ивановиче Рубцове / М.В. Рубцов. – Тверь: Изд. Союза потребительских обществ «Тверское посредническое т-во кооперативов», 1920. – 16 с.

Р.Н. Новый дом тверской гимназии и освящение его // Тверские губернские ведомости. – 1859. 10 октября. – № 41. Часть неофициальная. – С. 129-130.

Р-в Н. Тверская хроника // Тверские губернские ведомости. – 1859. 17 октября. – № 42. Часть неофициальная. – С. 130-131.

Р-в Н. Путевые заметки по Тверской губернии. Ржев // Тверские губернские ведомости. – 1859. 31 октября. – № 44. Часть неофициальная. – С. 141-144.

Р-в Н. Путевые заметки по Тверской губернии. Ржев // Тверские губернские ведомости. – 1859. 7 ноября. – № 45. Часть неофициальная. – С. 156-159.

Р-в Н. Путевые заметки по Тверской губернии. Ржев // Тверские губернские ведомости. – 1859. 28 ноября. – № 48. Часть неофициальная. – С. 160-162

Рубцов Н. Записка о промышленности города Осташкова // Тверские губернские ведомости. – 1861. Часть неофициальная. 4 ноября. – № 44. – С. 200-203.

Рубцов Н. Записка о промышленности города Осташкова // Тверские губернские ведомости. – 1861. Часть неофициальная. 11 ноября. – № 45. – С. 204-208.

Р-в Н. О промышленности города Осташкова // Тверские губернские ведомости. – 1863. Часть неофициальная. 15 апреля. – № 15. – С. 32-41.

Р...в Н. Публичная библиотека в г. Осташкове // Тверские губернские ведомости. – 1863. 27 апреля. – № 17. Часть неофициальная. – С. 48-50.

Р...в Н. Об осташковских больнице, богадельне и сиротском доме // Тверские губернские ведомости. – 1863. 4 мая. – № 18. Часть неофициальная. – С. 51-53.

Р-в Н. Очерк Осташкова // Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. – Тверь: Тверской губернский статистический комитет; Тип. Губернского правления, 1863. Отд. 3. – С. 119-190.

Р-в Н. Свадебные обычаи в Осташковском уезде в половине XIX века // Тверская старина. – 1913. – № 2, март-апрель. – С. 39-47.

Р-в Н. Очерк Торжка // Памятная книжка Тверской губернии на 1865 год. – Тверь: Тверской губернский статистический комитет; Тип. Губернского правления, 1863. Отд. 3. – С. 66-130.

Р-в Н. Очерк Кашина // Памятная книжка Тверской губернии на 1868 год. — Тверь: Тверской губернский статистический комитет; Тип. Губернского правления, 1863. Отд. 3. – С. 298-395.

Р-в Н. Этнографический очерк города Старицы // Тверской вестник. – 1880. – № 5.

Савицкий, Лев, священник. Православное кладбище гор. Вильно. К столетию кладбищенской церкви св. Ефросинии. 1838-1938 гг. / Л. Савицкий. – Вильно, 1938. – 54 с.

Салтыков, М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. / М.Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: Художественная литература, 1965-1977.

М.Е. Салтыков и Тверской край / Составитель Е.Н. Строганова // Щедринский сборник. Выпуск 3 / Научный ред. Е. Н. Строганова. – Тверь: СФК-офис, 2009. – С. 235-315.

Сергеев, Илья. Организатор тверской статистики // Тверские ведомости. – 2012. 10 августа.

Солнцев, Ф.Г. Одежды Русского государства. – Санкт-Петербург, 1869.

Ст-жо, Е. Осташков // Северная пчела. – 1840. – № 251. 6 ноября.

Строганов, М.В. М.Е. Салтыков и Ф.Н. Глинка // Щедринский сборник. Выпуск 3 / Научный ред. Е.Н. Строганова. – Тверь: СФК-офис, 2009. – С. 8-26.

Ульянов, Андрей. № 23. Рубцов Николай Иванович (1825-1895). Основатель Тверского музея. 2013. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://tverigrad.ru/publication/23-rubcov-nikolaj-ivanovich-1825-1895>. (14. 04. 2016)

Ульянов, Андрей. № 23. Рубцов Николай Иванович (1825-1895). Основатель Тверского музея [Электронный ресурс]. – URL: <http://tver.bezformata.ru/listnews/rubtcov-nikolaj-ivanovich-1825/10973482>. (14. 04. 2016).

НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ

ОТЗЫВ

оппонента о диссертации Елены Владимировны Капинос
«Формы и функции лиризма в прозе И.А. Бунина 1920-х годов»,
представленной на соискание ученой степени
доктора филологических наук
по специальности 10.01.01 – русская литература

В отечественных исследованиях русской прозы время от времени обозначались теоретические аспекты: в 70-е гг. XX в. проблема ритма прозы была не менее модной, чем «проблема автора», а в конце XX в. наиболее продуктивной оказалась теория мотива и т.д.

Оригинальный подход, предложенный западным славистом В. Шмидом, автором «Нарратологии» (книги, изданной в России в 2003), взят на вооружение современными учеными. «Проза как поэзия» – этот аспект особенно актуален в изучении авторов, работающих одновременно в поэзии и прозе. Равнозначность того и другого – явление достаточно редкое для русской литературы: поэзия Н.М. Карамзина «беднее» его же прозы; А.С. Пушкин «поэтический» не равен Пушкину-прозаику, аналогично и М.Ю. Лермонтов; проза А. Фета вообще «вторична» по отношению к его лирике, скучна поражающая длиннотами проза Я.П. Полонского и т.д. Исследование В. Шмида (имеется ввиду его книга «Проза как поэзия: статьи о повествовании в русской литературе», изданная сначала в Санкт-Петербурге в 1994, потом переизданная, исправленная и дополненная там же в 1997 году) – удачно реализованная попытка «нащупать» поэтические приемы, формирующие «материю» прозы. Кстати, из второго издания автор изъясил фрагмент о романе Лермонтова «Герой нашего времени», возможно, посчитав его неудачным.

Е.В. Капинос, автор диссертационного исследования, в какой-то степени опирается на результаты Шмида, но выбранный ею аспект существенно отличается от предложенного Шмидом: ее понятие «лирического» не совпадает с понятием «поэтического» у Шмида. Хотелось бы обозначить, что именно «шмидовское» оказалось полезным для исследования прозы Бунина.

Е.В. Капинос сосредоточила свое внимание на лиризме прозы И. Бунина. Теория лиризма в разное время разрабатывалась в отечественном литературоведении Л.Я. Гинзбург, Б.О. Корманом, Т.И. Сильман, Н.Д. Тмарченко, Ю.Н. Чумаковым, С.Н. Бройтманом, О.В. Зыряновым и др. К исследованию лиризма прозы Бунина обращались многие специалисты (Б.В. Аверин, М.С. Штерн, О.В. Сливичкая и др.), их работы также учтены диссертантом, но ей удалось найти и собственную «нишу». Во-первых, Е.В. Капинос выбран специфический материал – всего пять рассказов И. Бунина 1923 года (автор считает их неким «аналогом циклического единства, объединенным мотивами, восходящими к русской романтической поэзии», см. на с. 6), лиризм которых и стал предметом ее исследования. Во-вторых, – иной, отличный от предшественников, угол зрения. Итак, в теоретическом плане предложенная к рассмотрению диссертация продолжает развитие теории лиризма в отечественной науке, внося уточнения отдельных понятий; в историко-литературном плане – предпринято исследование динамики стиля И. Бунина, поэтики его «малой прозы» 20-х гг. с целью корректировки периодизации творчества писателя: начало нового этапа творчества Бунина Е.В. Капинос связывает именно с этими пятью рассказами Приморских Альп 1923 г.

Недостаточной изученностью лиризма, связанного с авторским началом, с подвижностью границ авторского «я», поразному присутствующего в тексте и предопределившего многообразие лирических форм в поэтике Бунина этого периода, лиризма, выражающегося во взаимосвязи различных уровней прозаического текста, предопределена *актуальность исследования*.

Е.В. Капинос как представитель новосибирской литературоведческой школы, тяготеет к теоретичности, к широте и глобальности выводов, к максимальной точности и выверенности выводов. В то же время она владеет «искусством медленного чтения», анализом художественного текста. Анализировать прозу, возможно, труднее, чем поэзию; во всяком случае, человек, взявшийся за прозу, несомненно, должен хорошо владеть анализом лирики (так, кстати, считал один из волгоградских ученых Д. Медриш). Как ученица Ю.Н. Чумакова, Е.В. Капинос опирается на его идеи и развивает их. Вся работа идет под знаком Пушкина. Трепетное отношение к нему

буквально «разлито» в тексте рецензируемой диссертации: Пушкин здесь и определенная мера, и эталон, и, как сказала в свое время М. Цветаева: «Пушкин – это состояние». Пушкинские образы мелькают и в названиях параграфов (см., напр., параграф 2. 1-ой главы «“Свободная стихия” персонажей: “Жизнь Арсеньева”, “Генрих”, “Таля Ганская”»), и в самом тексте (стихии – стихия воды, пушкинские строки, цитируемые персонажами, пушкинские формулы и т.д.). Выявление пушкинского подтекста в диссертации можно отнести к наиболее сильным сторонам исследования: все сделано точно, тонко и по-пушкински изящно.

Еще об одном достоинстве. В бесконечном споре «теоретиков» и «историков литературы» эта работа занимает достойное место, демонстрируя гармоничность сочетания одного с другим. При жесткой теоретичности, присущей мышлению автора диссертации, изучаемый материал не деформируется (как это зачастую бывает у теоретиков, не притягивается за уши к теоретическим положениям), а органично оформляется в исследовательскую концепцию: теория вырастает из материала, а не наоборот. Трудности исследований подобного рода заключаются еще и в том, что занимающийся столь тонкой материей, как подтексты, заранее обречен на упреки в субъективном прочтении текста (т.е. на «вчитывание»). В диссертации Е.В. Капинос все предельно выверено и обращением к «большому» контексту буниного творчества, и к разнообразным документальным источникам (мемуары, эпистолярий и т.д.), делающим мотивированной саму интерпретацию подтекстов.

В целом, диссертационное исследование отличается продуманной композицией, позволяющей обозреть обширный пласт буниного прозаического наследия. Материал жестко «схвачен» и оформлен в концепцию, при этом сохраняется удивительная тонкость проникновения в художественную ткань произведений, изящество и виртуозность аналитических разборов. Лучшими, на наш взгляд, следует признать те страницы диссертации, где Е.В. Капинос «раскручивает» подтекст, выявляя многослойность текста, выстраивает семантические цепочки, раскрывая многообразие заложенных смыслов. Диссертационное исследование производит впечатление завершеного труда, приглашает к размышлению и

побуждает к продолжению уже сделанного диссертантом. На наш взгляд, автор вполне успешно справился с поставленными задачами. В диссертации «работают» выбранные ее автором методологические подходы. Оправдано использование и предложенной диссертантом методики анализа текста, обозначенной ею как микропоэтика.

Во **Введении** корректно обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи исследования, а также положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и научно-практическая значимость исследования. Здесь обозначаются инструментарий и методологические подходы.

В трех главах диссертационного исследования, органично связанных между собой, обозначены различные аспекты проблемы.

В **первой главе** «Писательский мир и миры персонажей: лирическая поэтика малых форм», где центральное место занимают рассказы «Неизвестный друг», «В ночном море», лирическое начало выявляется в инвариантной ситуации «писатель и читатель(ница), «встреча в пути» и т.д. Глава обращена, как отмечает автор диссертации, к реконструкции писательской философии Бунина, к метауровню его прозы (см. с. 26). «Писательство» – особый тип личности, мироощущения, образ жизни и т.д. «Писатель» у Бунина персонифицирован, но персонифицирован, на наш взгляд, специфически. Так, в анализе рассказа «Неизвестный друг», Е.В. Капинос отмечает наличие феномена отсутствия, считая, что при помощи этого приема, формирующего жанровую форму «сюжета без героя», в рассказе создается «образ недосотворенной любви» (см. с. 36). С этим можно согласиться. Но, на наш взгляд, в эпистолярной форме, принимающей здесь дневниковый характер, обозначаются очертания архетипического сюжета о Пигмалионе, с той разницей, что Галатея (писатель) существует где-то в реальности. Писатель «материализован» в сознании героини, никогда его не видевшей, но сотворяющей Его из его же книг, он «вычитан» ею и как бы «довоплощен». Он, собранный ею из им же написанного, пересозданный ее воображением, являет собой персонификацию его же художественного мира. «Эффект присутствия» связан, на наш взгляд, именно с этим: несостоявшееся в реальности общение с ним для героини есть вызов его из небытия, сотворение из Пустоты, безмолвной и безответной.

В 1-о главе анализируются рассказы, где повествование имеет пока еще довольно «жесткий каркас» – повествовательную раму; персонажи живут в реальном, посюстороннем мире, в их жизни происходят реальные события – встречи, побуждающие к воспоминаниям; они переживают обычные человеческие драмы и т.д. От реальности бегут, но в нее возвращаются. Погружение воспоминания в этих рассказах маркировано, границы между временами сохраняются. Сохраняется в известном смысле и линейность, «лакуны», «пропуски» отмечают «зоны памяти», активизируя читательское воображение (эффект воздействия этих «лакун» сходен с тем, какое оказывает на читателя «графический эквивалент текста» в тексте пушкинского романа в стихах: найденное Ю.Н. Тыняновым, активно разрабатывается в работах пушкинистов, в частности, у Ю.Н. Чумакова, М. Гринлиф и др.). В пейзаже зашифровано переживание героини (пейзаж в известном смысле интроспективен) и «спрятан» Он, присутствие которого ощущается постоянно. В лирических излияниях «она» и «он» сливаются, перетекая друг в друга.

Возможно, в пересказе сна, увиденного героиней («Несколько дней тому назад видела Вас во сне. Вы были какой-то странный, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я Вас видела. Я и во сне чувствовала: как можно видеть во сне того, кого никогда не видел в жизни? Ведь только бог творит из ничего? И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе, с тяжелым чувством»), – отзвуки лермонтовского «Сна» («В полдневный жар в долине Дагестана...»): встреча снов – как встреча душ, невозможная в реальном времени и пространстве, но вероятная в другом измерении. Таинство соприкосновения душ в рассказе Бунина свершилось: реальную встречу замещает «проживание» героиней его поэтического мира, в котором запечатлена его душа. «Прощайте. Или нет, все-таки до свидания» – в этой заключительной фразе – отзвуки финальных строк пушкинской элегии «Для берегов отчизны дальней...» с их заклинательной стихией («Но жду его... Он за тобой...»). Пушкинские и лермонтовские мотивы «мерцают» в бунинском тексте, придавая ему многосмысленность и неоднозначность.

Справедлив вывод Е.В. Капинос относительно того, минусированный писатель и есть авторское я, но и героиня, в сюжетной инверсии выдвинувшаяся на первый план, тоже несет в себе «лирическое»: «семантическая пунктирность формирует подтекст» (общее – эмигрантская судьба и ностальгия по родине). Т.о., лиризм связан с обоими персонажами, участниками сюжета: ностальгия «разлита» в пространстве и душе каждого, каждому «передоверена» частица авторского переживания и авторской боли.

Е.В. Капинос – блестящий комментатор, в диссертации она неоднократно использует прием реконструкции биографического и историко-культурного подтекста (см., напр., историю любви В. Брюсова и Н. Львовой в параграфе «Барышня и символист»): опираясь на многообразные источники (мемуары, письма и т.д.), она «восстанавливает» историю в ее документальности, показав, как она «прорастает» в художественном тексте.

Автор диссертации хорошо чувствует жанровую природу текстов бунинской «малой прозы»: это со всей очевидностью выражается в названиях некоторых параграфов. Так, в параграфе «“В ночном море”»: между элегией и притчей, “за” и “против” отчуждения» анализируется функция «вставных» конструкции (притчи) и пушкинской цитаты. Встреча двух персонажей после долгой разлуки, связанных любовью к одной и той же женщине, ныне покойной, перерастает в философский диалог о смерти и о «жизни бесконечной». На наш взгляд, выделенные диссертантом подтексты, еще более осложняются ассоциациями, развивающими отмеченные мотивы. Узнаваем в персонаже-враче А.П. Чехов, будто врастающий в текст рассказа из бунинских мемуаров. Но «чеховское» проявляется не только в персонифицированном облике участника сюжета. Сама ситуация встречи на морском корабле явно отсылает к чеховской «Ариадне», сюжет которой, на наш взгляд, «пародийно» отзывается у Бунина. Бунин как будто делает «обратный ход», возвращая русской литературе присущее началу XIX века преклонение перед Женщиной в ее очаровательной женской ипостаси и тайну женской красоты и власти. Чеховская Ариадна при всем ее очаровании – чревоугодница (упоминание и описании пищи, продуктов, еды, различных блюд поразительно у Чехова), любующаяся сознанием своей власти и вседозволенностью. А в притче, рассказанной писателем,

стилизованной под библейский или восточный текст, – отзвуки пушкинского романа «Евгений Онегин». Дважды в своем романе Пушкин использует сравнение Татьяны с ланью («дева лесов», таящая в себе естественное, природное начало, и возможный аналог пантеры в бунинской притче; во 2-ой главе: «...как лань лесная боязлива...») и в сцене именин: «...и утренней зари бледней, и трепетней гонимой лани...»), подчеркивая разминовение героев, их неузнанность, в отличие от притчи, где узнавание душ – неизбежность и свершившийся факт.

Диссертант не просто констатирует включение разных жанровых форм в текст рассказа, Е.В. Капинос показывает, как жанровые формы создают конфликтность повествования: элегия вводит мотив «неодолимой черты», притча – мотив снятия границ и перехода в природу. Предложенный диссертантом вывод о равноправии двух начал – преодоление всех границ и «недоступная» чертой, замкнутость и открытость, вовлеченность в бытие и отчужденность, – вполне правомерен.

В анализе рассказов, формирующих «морской текст», обращает внимание обыгрывание полярных мотивов – мопассановского и пушкинского, связанных формулой «милый друг».

Как показала Е.В. Капинос в первой главе своего исследования, «в прозе Бунина конструируется сложный, многоипостасный образ писательского “я”», мучительно переживающего антиномии бытия: ощущение проницаемости границ мира и непреодолимость и прочность этих границ (с. 111).

Во **второй главе** «Авторское “я” в лирических формах: биографическое и поэтическое» исследовательские акценты смещена, оптика сдвинута в сторону «биографического» и сосредоточена на персонаже, близком автору. «Некто Ивлев» – «возвращающийся» персонаж, посредник, медиатор и одна из ипостасей автора. Капинос здесь интересуется «превращение» я биографического в изображаемое, художественное, поэтому она тщательно фиксирует авторские наводки, обосновывая подтексты, ими спровоцированные. Неслучайно, что в этих рассказах появляется мотив пути-дороги. Все они о преодолении границ времени и пространства, «неодолимой черты», разделяющей миры. Е.В. Капинос использует удачно

найденную формулу для обозначения специфики переживаемого Ивлевым – «искривленное время», в котором оживает легенда.

Двоящееся время Ивлева по-разному присутствует в тексте. Обратим внимание на один из аспектов, оставшийся не замеченным Е.В. Капинос. Начало рассказа насыщено не только визуальной пластикой, но и запахами. Именно запахи в картине мира – медиаторы миров, и функция их неоднозначна: запахи приковывают к земле, к реальности, но они и уводят в воспоминания, в инобытие (недаром специалисты связывают запах с «эффектом Пруста»). Заметим, что антология запахов в русской литературе еще не создана (есть единственная докторская диссертация, посвященная ольфакторному пространству русской поэзии, – автор Н.А. Рогачева, защищена в 2012 г.), конкретные исследования не систематизированы и не обобщены.

Запах у Бунина готовит сюжетное погружение в легенду, в чужую историю любви. Ситуации «до» и «после» посещения усадьбы Хвоцинского скреплены вариативным образом. Начало: «Дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею...». В финале это отзовется в найденных стихах, якобы сочиненных Лушкой: «Тебе сердца любивших скажут: “В преданьях сладостных живи...”». В свою очередь финальным строчкам предшествует выписка – изъяснение «языка цветов» («Могильница – сладостные воспоминания»). Так, «начала» и «концы» оказались сцепленными: реальные запахи «превратились» в слово. Почти, как у Ахматовой: «Шиповник так благоухал, что даже превратился в слово».

Центром в описании заброшенной усадьбы становится куст, именуемый «божьем деревом», – особый вид полыни. И эта же полынь мелькнет в эмблематических записках: «Полынь – вечная горечь». И вновь та же метаморфоза: превращение реальности в Слово. Имя персонажа – Хвоцинский – рифмуется с растением – полыню, предопределяя его драматическую судьбу. Вегетативный код скрепляет «начала» и «концы» легенды о любви, идущей под знаком вереска: «Вересклед – твоя прелесть запечатлена в моем сердце» – записано в той же старинной книге. Так, дорога, по которой герой заехал в усадьбу, уводит в глубинные слои времени, в легенду, участником которой он хотел бы стать, – таков вывод диссертанта.

Два других рассказа связаны с зимней дорогой, отсылающей, в первую очередь, к пушкинскому зимнедорожному циклу, и не только к нему. Экзотичность сна Ивлева сближает его со сном Татьяны, который пушкинисты сближают не только с жанром новеллы, но и с балладой. Ю.Н. Чумаков рассматривает сон Татьяны как «возможный», но несостоявшийся вариант сюжета пушкинского романа, где случается то, чего не может произойти в реальности.

Как показала Е.В. Капинос, в «Зимнем сне» представлено сновидное пространство, присутствует сюжетная фрагментарность, эпизоды, хаотично явленные, соединены ассоциативной связью. Ею тонко проанализирован текст: он не распрямлен и не искажен. Особенно интересны наблюдения над двоящимся «я» персонажа, колеблющимся между «я» и «не-я», присутствующим в тексте и как бы выпадающим из него.

В современной теории жанрообразующим признаком романтическая баллады назван следующий – встреча миров, здешнего и потустороннего, встреча, имеющая роковые последствия. В рассказе Бунина соприкосновение миров присутствует в «обращенном» виде: неясность, размытость, невыразимость – таковы знаки «иного мира». Время от времени возникающий убитый Вукол и учительница, уводя к разным сюжетным линиям, смыкаются в нераздельности жизни и смерти, в ужасе, переживаемом Ивлевым, одинаково отнесенном и к тому, и к другому персонажу. Архетипический мотив путешествия «обрастает» балладными коннотациями: мотив мертвого жениха здесь трансформирован, учительница наделена «бесовским», именно она манит героя за собой; сам герой, проживающий это событие во сне, – аналог мертвого, отчужденного от мира. Совершенно точно интерпретируется Е.В. Капинос неоднозначность пути – к блаженству или к смерти, очевидно, что это дорога в никуда, поэтому и упоминаемая Гренландия наделена полярной семантикой.

Заслуживает внимания и предложенный в этой главе (следующий параграф) аналитический разбор рассказа «В некотором царстве», выполненный не менее тонко и изящно, чем разбор «Зимнего сна». Особый интерес представляют наблюдения над сменой точки зрения, точнее, расщеплением сознания субъекта; здесь

обозначается такой феномен, как «утрата субъекта», что выражается в предчувствиях.

В целом 2-ая глава, рассматривающая редуцированные сюжеты (отметим, что редуцирование сюжета – характерная черта поэтики А. Фета, метод которого определен нами как «ассоциативный символизм»), моделируемые персонажем, пребывающем в особом состоянии, анализ игры текста с подтекстом, где «таинственное» смерти соседствует с таинством любви, заслуживает самой высокой оценки. Показано, что автоперсонаж как воплощение противоположных качеств авторского «я», как и вообще человеческой жизни, и есть носитель лиризма. Авторское «я» в лирической прозе Бунина (и вообще в любой лирической прозе), делает вывод диссертант, напоминает поэтическое «я»: Е.В. Капинос и анализирует это авторское «я» по канонам лирического текста.

Третья глава «Историософия Бунина в философско-теоретическом контексте начала XX века» – завершающая, приобрела в структуре исследования характер обобщающей. В ней обозначены точки соприкосновения с философами и теоретиками XX века, в трудах которых автор диссертации усматривает пересечения с Буниным. Целесообразно, что разговор об этом ведется именно в финале исследования: здесь демонстрируется общность идей эпохи, изменившихся представлений. Подобная композиция позволяет устранить иллюстративность, неизбежно возникающую при любой попытке свести Бунина к какой-то «чужой» философии.

В 3 главе автор диссертации закономерно выходит на специфику воплощения исторической темы, заявленной эпически в малой прозе Бунина. И здесь «подтексты» раскручены не менее виртуозно, чем в предшествующих главах.

В параграфе «Элегия в прозе: “Несрочная весна”» Е.В. Капинос указывает сразу четыре подтекста: проза и поэзия К.Н. Батюшкова, «Развалины» Г.Р. Державина и элегия Баратынского «Запустение» (последняя цитируется в тексте рассказа). Оговорим следующее: мы предпочитаем форму написания фамилии поэта «Баратынский» через букву «а» в первом слоге: именно такое написание было принято в нашей кандидатской диссертации, посвященной творчеству Е.А. Баратынского (защищена в 1980 году). Существуют документально представленные пояснения потомков,

отстаивающие написание фамилии через «о»; этот же вариант фамилии сохранен в научных сборниках, издаваемых учеными Казанского университета. Тем не менее, вариативность написании авторского имени – факт, имеющий место в истории русской литературы.

Е.В. Капинос показала, что именно мотив несет «память культуры», именно он формирует ассоциативные цепочки, уводящие в глубинные слои культуры.

Ситуация посещения заброшенной усадьбы архетипична: упоминание библиотеки, на наш взгляд, отсылает к популярным для начала XIX в. мотивам «путешествия по срезам культуры» (М. Поляков) и «разговору с отсутствующими (мертвецами)» в особом «идиллическом» пространстве, удаленном от городской суеты («Мои Пенаты» К.Н. Батюшкова, «Городок» А.С. Пушкина и т.д.).

Прозу Батюшкова Е.В. Капинос в этом параграфе снабжает великолепным развернутым историко-культурным комментарием. Напрашивается вопрос: в какой мере бунинский лиризм формирует архетипичная ситуация? Посещение замка автор письма воспринимает по аналогии с путешествием Улисса: известно, что Батюшков переименовывал самого себя, уподобляясь античному герою Улиссу-Одиссею. Затекстовый топоним, который, включаясь в текст, задает подтекст: топоним, как показал автор диссертации, оказывается финальной точкой, которая, в противовес элегической теме возвращения, становится знаком невозвращения. Наблюдение очень ценное. Но, очевидно, не только топоним вводит эту тему. Мотив утраченной родины и не обретенной, не узнанной по возвращении из дальних странствий звучит в стихотворной миниатюре Батюшкова («Судьба Одиссея»), включенной в его лирическую книгу «Опыты в стихах и прозе»: «Средь ужасов земли и ужасов морей / Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки / Богобоязненный страдалец Одиссей; / Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки; / Харибды яростной, подводной Сциллы стон / Не потрясли души высокой. / Казалось, победил терпеньем рок жестокой / И чашу горести до капли выпил он; / Казалось, небеса карать его устали / И тихо сонного домчали / До милых родины давно желанных скал./ Проснулся он: и что ж? отчизны не познал». Аналогия с Одиссеем в письме К.Н. Батюшкова к Н.И.

Гнедичу, 12 июля 1807 г.: «... Я по возвращении моем стану тебе рассказывать мои похождения, как Одиссей... Поедем ко мне в деревню и заживем там... Ничто так не заставляет размышлять, как частые посещения госпожи смерти...» (Ш, 15-16).

«Библиотечный» мотив у Батюшкова, на наш взгляд, есть не что иное, как «книжный». «Книжный код» Батюшкова «раздваивает» его как автора, существуя в полярности. Элегия, спроецированная на эпистолярный, задает параллелизм: серьезное снимается пародией. Батюшков, оставаясь в рамках «школы гармонической точности» в лирике, пародирует самого себя в письмах, погружаясь в стихию комизма и разрушая элегический ореол. О специфике элегического мышления К.Н. Батюшкова см. в нашей статье «Книжный код К.Н. Батюшкова: литературные архетипы и реальность (на материале эпистолярного наследия К.Н. Батюшкова)», опубликованной в журнале «Вестник БГПУ» (серия «Гуманитарные науки», 2007. Вып. 7). Позволю процитировать фрагмент своей статьи: «Эпистолярные эксперименты Батюшкова, разрушая семантическую однозначность и эмблематическую застылость, обнажают сами приемы обнаружения внутренней диалектики, присущей предмету, завершились усложнением образной структуры в поэзии последних лет. Аналог полисемантизма в лирике – многоипостасность эпистолярной личности, переосмысление архетипов, взрывание элегической одномерности». Очевидно, что для русской литературе характерны «возвраты»: линия развития поэзии Батюшкова получит продолжение в прозе Бунина.

Е.В. Капинос не свойственна упрощенность в трактовке и реконструкции подтекстов: она не просто констатирует наличие того или иного, но показывает характер взаимодействия между ними, разнонаправленность, уводящую к полюсам. Конфликтность и рождает динамическое единство, и отсюда вывод: «Державин» ведет к укрупнению темы, «Баратынский», наоборот, к ее сужению.

Из всех обозначенных Е.В. Капинос приемов, формирующих лиризм, наиболее интересными представляются следующие – «затекстовые реалии» и цитаты.

Е.В. Капинос показала, как «затекстовые реалии» (топоним и дата написания), включаются в текст произведения, внося античность, полярный смысл «событийному». Сюжетная

незавершенность часто обретает в затекстовой реальности один из «возможных» финалов, хотя и сохраняет смысловую многозначность. «Лакуна», существующая между самим текстом, сюжетом, создает ассоциативное поле, в котором поставлена точка (материализованная автором надпись), но сюжет остается шире этого финала. Затекстовые реальности чаще всего выполняют функцию пресечения самой возможности «haru end». И это опять по-пушкински, как в его «романе Жизни». Возникает противоречие между «определенностью» затекстовой реальности (топонима и даты) и многосмысленностью и незавершенностью сюжета, разомкнутого в бесконечность жизни с ее непредсказуемостью, драматическими поворотами. Затекстовые реальности – ахматовский прием, работающий иначе (об этом см. в нашей докторской диссертации и монографии «Рубеж XIX-XX веков: миф и мифопоэтика», Барнаул, 2011), чем в прозе Бунина, особенно, если учесть ахматовскую мистификацию дат.

В третьей главе анализируется теория памяти Бергсона, соприкасающаяся с художественными открытиями Бунина. Кроме того, обращаясь к трудам представителей формальной школы, Е.В. Капинос показала, как эти открытия нашли отражение в теоретико-литературных работах Б. Эйхенбаума и др. Обращение к формалистам логично, поскольку исследование Е.В. Капинос базируется на тыняновских трудах, посвященных, в том числе поэзии Пушкина и его роману «Евгений Онегин».

В Заключении подводятся итоги работы и намечаются ее возможные перспективы.

Диссертационное исследование и по концепции, и в плане реализации поставленных задач, и в плане исполнения – завершённый этап в изучении творческого наследия Бунина. Исследование Е.В. Капинос демонстрирует широкую эрудицию, высокий профессионализм. Научная новизна диссертационной работы несомненна: она заключается в системном описании лирической поэтики «малой прозы» И. Бунина, специфика которой предопределена авторским «я», границы которого подвижны; само «я» многоипостасно явлено в тексте, а лиризм формируется игрой текста и подтекста, содержащего, помимо автобиографического, множество историко-культурных смыслов.

Все высказанные замечания носят характер размышлений на полях и никак не снижают благоприятного впечатления от работы.

Автореферат воссоздает специфику проведенного исследования, выявляет его значительный эвристический потенциал.

Материалы диссертации нашли отражение в двух монографиях «Лирические сюжеты в стихах и прозе XX в.» (в соавторстве с Е.Ю. Куликовой; Новосибирск, 2006), «Малые формы поэзии и прозы (Бунин и другие) (Новосибирск, 2012), в публикациях в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ (всего 16), в статьях, опубликованных в России и за рубежом (всего 14).

Оформление и объём диссертации и списка литературы отвечают принятым нормам.

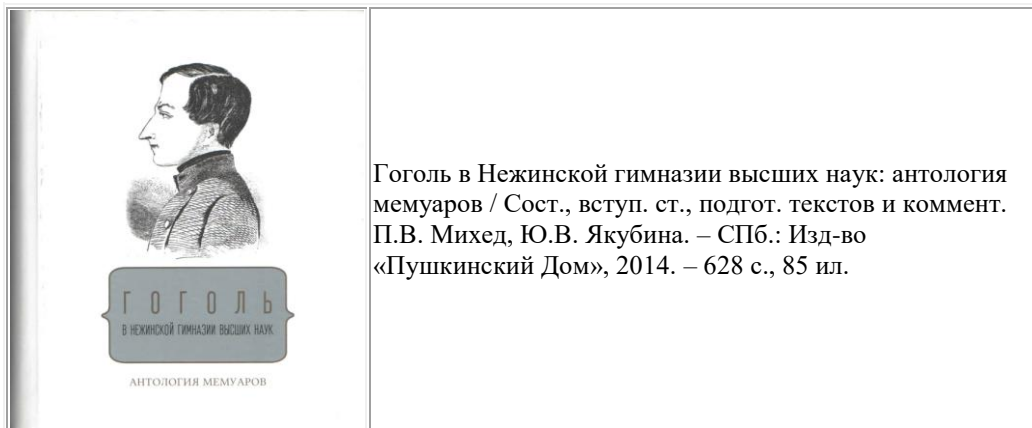
Нет сомнения в том, что рецензируемая работа Е.В. Капинос на тему «Формы и функции лиризма в прозе И.А. Бунина 1920-х годов» соответствует специальности 10.01.01 – русская литература, а ее автор, заслуживает искомой степени доктора филологических наук.

11.06.2014 г.

Г.П. Козубовская,
доктор филологических наук, профессор кафедры
литературы ГОУ ВПО «Алтайская
государственная педагогическая академия»
(Барнаул)

ИНТЕРВЬЮ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

П.В. МИХЕД «ЗАБИРАЙТЕ ЖЕ С СОБОЮ В ПУТЬ, ВЫХОДЯ ИЗ МЯГКИХ ЮНОШЕСКИХ ЛЕТ...»



Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: антология мемуаров / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. П.В. Михед, Ю.В. Якубина. – СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2014. – 628 с., 85 ил.



Павел Владимирович Михед, литературовед, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом славянских литератур Института литературы им. Т.Г. Шевченко, исследователь творчества Н.В. Гоголя

Павел Владимирович!

Вы известный специалист по творчеству Гоголя, лауреат премий и уважаемый человек. Вы уроженец Нежина?

Я родился в селе, расположенном в центре примечательного географического треугольника, условные вершины которого обозначили Киев, Чернигов и Нежин. Это места, откуда родом Алексей и Кирилл Разумовские. Их мать, Наталья Розумиха, как известно, не любила Санкт-Петербург, поэтому осталась в своем селе Лемши, и ей мы обязаны впечатляющими силуэтами Собора Рождества Богородицы в Козельце (иконостас проектировал В. Растрелли) и Трехсвятительской церкви (архитектор Квасов) в Лемешах. Оба храма видны из окна автомобиля, проезжающего по трассе Киев-Москва.



Козельце

Собор Рождества Богородицы в



Трехсвятительская церковь
(архитектор Квасов) в Лемешах.

Это я к тому, чтобы обозначить свои геокультурные координаты. А учился я в Нежинском пединституте им. Н.В. Гоголя на рубеже 60-х-70-х.

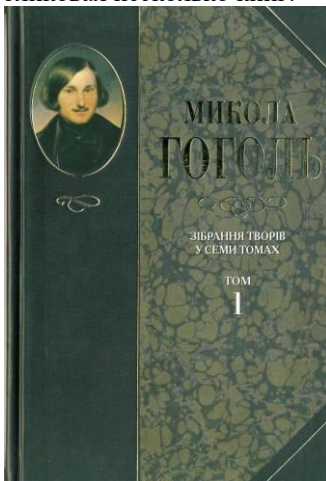
*В какой мере Нежин predetermined Ваши научные интересы?
Когда Вы поняли, что Гоголь – это Ваш автор?*

Мое первое увлечение – проза Ивана Бунина, в частности ее психологизм. Мою студенческую работу читал известный исследователь творчества Бунина Николай Михайлович Кучеровский; он звал меня в Калугу, которая при нем была одним из центров изучения литературы XX века. Но я не отважился уехать из Украины.

Кандидатская диссертация была посвящена романному творчеству Василия Трофимовича Нарезного. Я первым заговорил о барочном характере стиля первого русского романиста, как его называл В. Белинский. Истоки творчества Нарезного – литературная культура украинского барокко. И вот здесь произошла встреча с Гоголем, потому что Гоголь тоже «оттуда родом». И подтолкнул к этому сам Гоголь. В статье «О движении журнальной литературы» он писал: "Наша эпоха, кажется, как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует...», т.е. он высказывает пожелание, чтобы пишущие о нем не рубили корней, а помнили, что у всего есть свое начало. И у Гоголя, естественно, тоже.

Вторым моим подсказчиком, как ни странно, оказался В. Белинский, заметивший в рецензии на «Петербургский сборник»: «У Гоголя не было предшественников в русской литературе, не было (и не могло быть) образцов в иностранных литературах». Возникает логический вопрос: а где их искать? Естественно в украинской литературе. О связи Гоголя с барокко первыми заговорили А. Белый и, более предметно, Д. Чижевский. А в конце 70-х о барочности Гоголя писали такие совершенно разные по своим взглядам и пристрастиям исследователи, как В. Кожин, В. Скуратовский, Ю. Покальчук, В. Турбин. Уже в 90-е к этой теме обратился Ю.Я. Барабаш. Его чрезвычайно интересная работа окончательно закрепила идею тесной связи Гоголя с украинским барокко (см. его книгу: Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков. М., 1995). Он обосновал и термин «гоголевское барокко», впервые введенный В. Турбиным. Вот с осмысления этой проблемы начались мои занятия Гоголем.

Сегодня можно подвести предварительные итоги сделанного. В 2009-2012 гг. в Украине вышел 7-томник Гоголя на украинском языке, а в 2009 г. – полная библиография Гоголя на украинском языке. К реализации этих проектов я имею непосредственное отношение. И еще опубликовал несколько книг.



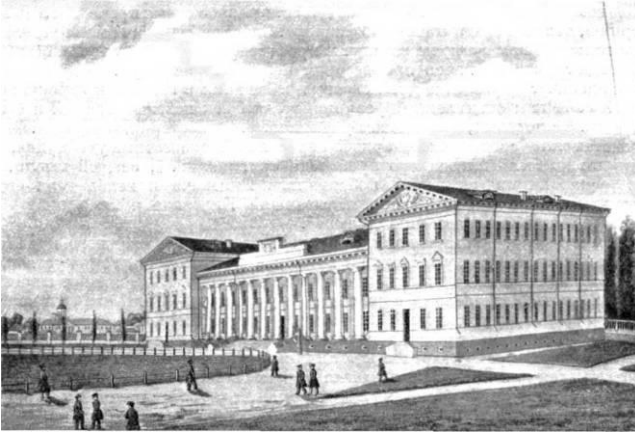
В этом году исполняется 20 лет Гоголеведческому центру при Нежинском государственном

университете им. Николая Гоголя, которым я руковожу, под эгидой которого вышли 22 тома научных записок, часть из которых есть в Интернете.

Наши библиографы и Владимир Алексеевич Воропаев совместными усилиями каждый год скрупулезно обновляют гоголеведческую библиографию. Не скрою, мне было приятно, например, увидеть на полках библиотеки Вайднера Гарвардского университета все выпуски нежинских «Гоголеведческих студий». Значит, не зря, и в мире нас читают.

Расскажите о Нежинском лицее. Нам в алтайской глубинке интересно все.

Гимназия высших наук кн. Безбородко была открыта 4 сентября 1820 года. Она построена на деньги князя Александра Андреевича Безбородко и его брата Ильи Андреевича – людей известных в истории России. Они заботились о процветании просвещения в родном крае. В 1805 году Александр 1 своим рескриптом от 29 июля дал добро на строительство Гимназии высших наук. Война несколько отодвинула планы, но к 1820 году было закончено трехэтажное строение архитектора Луиджи Руски, и Гимназия открылась. А 1 мая следующего года Василий Афанасьевич Гоголь привез своего 12-летнего сына Николку на учебу. Что собой представляло это учебное заведение?



Программа предполагала 9-летний период обучения и состояла из трех частей. Акцент был сделан на изучение гуманитарных дисциплин, права и языков, при этом желающие могли посещать, например, курсы по артиллерии (8-й класс) или фортификации (9-й класс), а кроме того: танцы, рисование, черчение. Огромную роль в организации и развитии Гимназии сыграл Иван Семенович Орлай, доктор медицины, хирургии, философии, магистр словесных наук, признанный в европейских научных кругах. К слову, он состоял в переписке с Гете. Орлаю удалось собрать знающих и увлеченных педагогов, что и определило успех Гимназии. Из ее стен вышла когорта замечательных людей: литераторов, дипломатов, педагогов, принесших славу Отечеству. Я убежден и писал о том, что есть основание говорить о «нежинской школе» в русской литературе. След в литературе, в различных жанрах оставили около двадцати писателей. О «высоком стиле нежинцев» писал В. Шенрок, о чрезвычайных амбициях, взлелеянных в стенах Гимназии, А. Кирпичников. Если посмотреть на Гимназию в контексте своего времени, то мы будем вынуждены говорить, что в ее программе своеобразно объединялись гимназический и университетский курсы. Н. Кукольник в воспоминаниях приводит факты, свидетельствующие об уровне преподавания в Гимназии: «Крестовые походы проходят – все читают

Мишо и отвечают иногда к видимому смущению учености профессора; проходят ли историю тридцатилетней войны – все читают собственный перевод Шиллера, во время преподавания римского права были ученики, которые могли рассказать внутреннюю домашнюю жизнь римлян, как будто сами там и в то время жили, а самое право учили по Римскому своду законов, т.е. по Юстиниановым Институциям, на языке подлинника; да и вообще многие предметы проходили *ex fontibus...*». По словам Н. Кукольника, гимназисты слушали «философскую грамматику по-французски». А чего стоит замысел П.Г. Редкина, который в первые годы учебы в Гимназии задумал «составить из переводов лучших иностранных писателей полный курс всеобщей истории по самой подробной программе. К нему присоединились его однокурсники: В.И. Любич-Романович, В.В. Тарновский, К.М. Базили. Среди авторов имена известнейших европейских ученых, по учебникам которых учились и в зарубежных университетах.



Вместе с тем бытует мнение, что Гимназия не отвечала требованиям времени и не давала настоящего образования. В «Авторской исповеди» Гоголь скажет горькие слова о своей alma mater: «...я получил в школе воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученье пришла ко мне в зрелом возрасте».

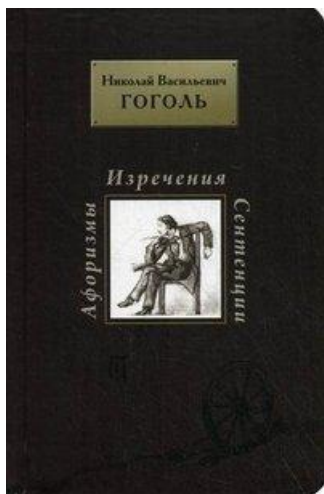
При этом, заметим, не принимается во внимание тот факт, что речь здесь идет о воспитании и прежде всего о нравственном формировании писателя в контексте его поздних духовных исканий. Приведу пространную цитату в продолжение сказанного: «Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном учении, но и в простом нравственном, глядя на себя самого, как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем, вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу: я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желаньи своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель». Речь, как видим, идет вовсе не о Гимназии как источнике знания. Гоголя занимают другие вопросы, он занят проблемой истоков своего нравственного и духовного созревания, смотрит на свое прошлое с точки зрения того решительного духовного поворота, который пережил на рубеже 30 – 40-х годов и который определил направление его творчества последнего десятилетия. Понятно, что ни гимназическая программа, ни среда просвещенных наставников и соучеников не могли удовлетворить те амбициозные духовные запросы, которые возникли у писателя во второй половине 30-х - начале 40-х гг., воплотившись в форме апостольского служения средствами литературы.

Расскажите о Вашей последней книге («Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: антология мемуаров»)

Последняя книга написана вместе с коллегой, Юлией Васильевной Якубиной. Это антология мемуаров о Гоголе-гимназисте с пространным комментарием (более 18 печ. листов). Антология вышла в издательстве «Пушкинский Дом» и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить директора изд-ва Е.И. Гончарову, редакторов и

корректоров. Для нас это был большой и полезный опыт сотрудничества.

Первую книгу для этого издательства мы подготовили вместе с супругой, Татьяной Васильевой, называлась она «Н.В. Гоголь. Афоризмы, изречения, сентенции» и вышла она в 2010 году. Эта книга вошла в шорт-лист лучших изданий классиков русской литературы 2010 года и положила начало серии издательства. Недавно я получил подарок от Вячеслава Яковлевича Гречнева – книгу «А.П.Чехов. Афоризмы, изречения, сентенции». Серия жива.



Н.В. Гоголь. Афоризмы. Изречения. Сентенции (Николай Гоголь). – СПб: Изд-во «Пушкинский Дом», 2010. – 256 с. ¹.

¹ Аннотация. Вошедшие в книгу афоризмы, изречения и сентенции извлечены из художественно-публицистических сочинений и писем Н.В. Гоголя. В работе над книгой составители использовали полный корпус произведений писателя, опубликованных в наиболее авторитетных изданиях. В книге выдержан жанрово-хронологический принцип публикации гоголевских текстов. Все представленные высказывания Н.В. Гоголя снабжены соответствующими ссылками, указывающими на произведение, а также том и страницу изданий сочинений писателя. Во вступительной статье

Вернусь к антологии. Мы поставили своей задачей собрать полный свод мемуаров о Гоголе-гимназисте и, кажется, нам это удалось. Мы собрали даже пересказы воспоминаний, так что это наиболее полный свод. Но судить о книге читателям и специалистам.

Расскажите о своих учителях.

Я учился в конце 60-х и обязан сказать, что в то время в Нежине работала «могучая кучка» филологов: Д.С. Наливайко – автор двухтомного исследования «Искусство. Направления, течения, стили», ныне академик; Г.Г. Аврахов – исследователь украинской литературы, авторитетный критик; И.С. Шпаковский – известный белорусский теоретик литературы; В.Д. Литвинов признанный латинист и переводчик. Им обязано мое поколение студентов. Научным руководителем моей кандидатской диссертации был Юрий Зиновьевич Янковский – автор хорошо известной в России работы «Патриархально-дворянская утопия» (М., 1981). Это одно из первых объективных и серьезных исследований о славянофилах в советское время. О нем и драматической судьбе его книги вы можете прочитать в воспоминаниях Ю. Манна. К слову, Юрий Владимирович Манн был первым оппонентом моей кандидатской диссертации.

Вы постоянный участник Гоголевских чтений в Москве. Что, на Ваш взгляд, перспективно в изучении Гоголя?

обоснованы причины обращения писателя к афористической речи, ее функции, а также очерчены истоки афористики Н.В. Гоголя.



Да, я был участником многих конференций в Доме Гоголя. И хочу самые лестные слова сказать об организаторе и вдохновителе этих научных собраний Вере Павловне Викуловой. Она пришла на заведование библиотеки музыкальной литературы на Никитский бульвар, 7А в конце 90-х. И быстро поняла, что дом Талызина, где последние годы (с 4 декабря 1848 года) прожил и где умер Гоголь, может стать и центром изучения творчества Гоголя, она же придумала замечательное название – Дом Гоголя.

Но первым делом Вера Павловна побывала в Нежине и Полтаве, ее интересовало все, она ознакомилась с Гоголеведческим центром, его работой, его научными проектами. И наметила свои.

Ее огромные усилия увенчались успехом и сегодня Дом Гоголя – один из культурных центров Москвы. Там создан первый в России музей Николая Гоголя и, по-моему, лучшая площадка по проведению гоголевских научных собраний, а еще – ежегодный научный сборник, пользующийся большой популярностью среди гоголеведов. Это единственное место, где собираются гоголеведы, исповедующие разные взгляды на творчество писателя. В другом месте вы их никогда не соберете. Даже тех, что живут в России. Так что Вера Павловна заслуживает самых добрых слов от всего гоголеведческого мира.

Как бы Вы оценили состояние современного гоголеведения?

Сегодня гоголеведение – одно из самых успешных направлений литературоведения. Здесь работает целая плеяда прекрасных ученых и очень много сделано.

Как-то за дружеским столом мой старый товарищ, начинавший свою ученую карьеру в Нежине (здесь в 1979 году он прочитал свой первый доклад), а нынче – профессор МГУ и один из ведущих гоголеведов России, Владимир Алексеевич Воропаев пошутил: «Скажи, Павел, как все-таки повезло Гоголю с нами!»

Не только, понятно, с нами, но и, как я сказал, с целой плеядой серьезных ученых. Я говорил о наших работах, к ним я бы добавил «Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя: нежинский период» (Нежин, 2009).

А сколько сделано в России! Только о фундаментальных скажу. Работы Ю. Манна, Ю. Барабаша, Полное собрание сочинений Гоголя в 17 тт., подготовленное В. Воропаевым и его учеником И. Виноградовым, готовящееся ПСС в ИМЛИ в 23 тт. Или возьмите 3-х томный труд Игоря Виноградова, создавшего полный систематический свод документальных свидетельств: «Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников». Первый том (73 печ. листа!) вышел в 2011 г. Это же работа целого института. С ним Гоголю, точно, повезло!

Сегодня Гоголь необычайно популярен, сформировались целые школы в Израиле, США, Германии, Японии, Италии. Так что у гоголеведения светлое будущее. Что касается перспективных направлений, то в «Гоголеведческих студиях» мы печатаем анкеты с известными гоголеведами, где они отвечают на этот вопрос. Там много любопытного. Меня интересует сейчас функционирование гоголевского канона в украинской литературе и вопросы рецепции творчества писателя в Украине.

Вы лауреат международной премии «Гоголь в Италии» 2009 года, несколько слов об этом событии.

Премия – вещь приятная и неожиданная. В том году были удостоены премии Юрий Любимов, Ирина Антонова, Андрей Битов, Борис Мессерер, а из Украины Богдан Ступка и художник Сергей Якутович. Вручение происходило в Риме, на вилле Медичи. Гоголь

упоминает ее в «Риме». Мы с женой провели три незабываемых дня в Риме. В очень хорошей компании, согласитесь.



Источник фото:
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_18_364

Вилла Медичи, где вручаются гоголевские премии (сейчас там размещается Французская академия)

ЮБИЛЕЙ
ЕЖИ ФАРЫНО



В феврале 2016 года отпраздновал свой 75-летний юбилей удивительно талантливый ученый-филолог, подлинный Мастер своего дела и наш добрый товарищ по литературоведческому цеху – известный польский славист Ежи Фарыно.

Прекрасная дата! Прекрасное время! И наши общие – самые сердечные поздравления! В них мы хотим избежать традиционно юбилейной *«бронзы многопудья»*, ведь в человеке, в его трудах важнее живая жизнь и пульсирующий смысл научного творчества.

Пути-дороги Мастера в поиске и обретении своего места в науке, в понимании смысла текстовых структур и поэтики были непростыми, а подчас и замысловатыми. Главные их векторы сам он определяет так: «Книги–Люди–Агрополис» и «Осло–Стокгольм–Турку → Загреб–Будапешт → Австрия–Германия–Голландия–Англия → Бергамо → Петербург → Тарту». Книги, люди и даже Агрополис (Сельскохозяйственно-педагогический институт в г. Сельдце, где ученый преподавал более 20 лет) – это то живое и реальное «культурно-историческое поле», в котором формировалась личность Ежи Фарыно. Перечисленные города и страны – это лекции, конференции, семинары, общение с коллегами и студентами, публикации в значимых сборниках и журналах (в основном – зарубежных). Они случались всегда «вопреки» системе, в разрез с идеологическим мейнстримом, но помогли плодотворной реализации научных идей и замыслов, доказали верность избранному служению и выбранной позиции. Ведь и в самом деле – *«Шпагу для дуэли. Меч для битвы – / Каждый выбирает по себе»*. И вот они – главные результаты интеллектуальных разысканий ученого, ставшие теперь классикой литературоведения: «Мифологизм и теологизм Цветаевой» (1985), «Поэтика Пастернака» (1989), «Археопоэтика “Детства Люверс” Бориса Пастернака» (1993), «Введение в литературоведение» (1997). Рядом с этими книгами – более 200 статей, организация международных научных конференций и публикация их материалов, руководство научными проектами, многочисленные переводы на польский язык исследований русских ученых.

Но при всей ученой маститости, и это хорошо известно и коллегам, и друзьям, и ученикам Ежи, он – человек удивительного обаяния, скромный и отзывчивый, улыбчивый и ироничный. Таким узнали его и мы, когда с начала 1990-х годов Мастер стал приезжать в Россию: с лекциями, докладами, выступлениями он побывал в Петербурге, Москве, Барнауле, Смоленске, стал печататься в российских журналах, в 2004 году помог издать в России свое «Введение в литературоведение», ставшее учебной книгой для наших студентов-филологов. Не только научный авторитет, но и готовность к общению на равных, желание участвовать в самых разных мероприятиях, бескорыстная помощь и молодым, и уже состоявшимся

коллегам, которые приглашались на конференции, организованные Ежи, и писали статьи для его проектов и изданий, создали в российской научно-образовательной среде особую атмосферу вокруг этого яркого человека – атмосферу искреннего уважения, глубокой симпатии и самого трепетного почтения.

С Днем рождения, Мастер!

Из архива АлтГПУ



На Пленарном заседании конференции
«Культура и текст» в 2005 г.



профессора

Мастер-класс пана



Ежи Фарыно консультирует аспирантов



(Экскурсия по г. Бийску (на фото В.В. Мароши и И.Е. Лоцилов)

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ⁴



Уроженец Алтайского края Иван Жданов – поэт, член Союза писателей СССР, лауреат литературных премий – удостоен высокой государственной награды. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина за большие заслуги развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность поэту вручат медаль Пушкина¹.

Лауреат Премии Андрея Белого (1988), первый лауреат Премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности (1997), лауреат литературно-кинематографической премии имени Арсения и Андрея Тарковских (2009).

¹ Медалью Пушкина награждают граждан за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов. К награждению медалью Пушкина, как правило, представляют представителей культуры и искусства, которые занимаются общественно-гуманитарной деятельностью в течение 20 и более лет. За 16 лет медаль Пушкина вручили 858 раз.

Иван Жданов – редактор литературно-художественного, публицистического, культурно-просветительского журнала «Алтай» и отдела литературных и издательских проектов Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. Успешно сотрудничает с журналом «Культура Алтайского края», ведет авторскую рубрику «Лучшие поэты современности», напомним в управлении Алтайского края по культуре и архивному делу.

Иван Жданов участвует в творческих проектах и масштабных культурно-просветительских акциях в Алтайском крае. В их числе – Всероссийские Шукшинские дни на Алтае, литературный перекресток «Шукшин и вся Россия», творческие вечера в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова, встречи со студентами Алтайского государственного университета, Алтайского государственного педагогического университета¹.

¹ Источник: http://www.altairregion22.ru/region_news/urozhenets-altaiskogo-kraya-poet-ivan-zhdanov-udostoen-vysokoi-nagrady-v-oblasti-literatury_467210.html, http://www.altairregion22.ru/region_news/urozhenets-altaiskogo-kraya-poet-ivan-zhdanov-udostoen-vysokoi-nagrady-v-oblasti-literatury_467210.html



В студенческие годы



Редкое фото. В инструктивном лагере (из архива АлтГПУ)



Середина 80-х.